

Марина ШЛЯПИНА

*Блюз и джаз*



Тольятти 2015

ББК 84(2Рос - 4Сам - 2Тол) 6 - 4  
Ш 48

**Шляпина, Марина**

Ш 48

БЛИЗЬ И ДАЛЬ. РАССКАЗЫ. / Марина Шляпина. (Издание 2-ое, исправленное и дополненное) –

Т.: ОТО г.о. "Тольяттинская писательская организация", – 204 с.

ISBN 978-5-98147-057-8

Книга издана при поддержке  
Министерства культуры РФ  
и  
Союза российских писателей

ISBN 978-5-98147-057-8

© М. Шляпина, 2015  
© ОТО г.о. "ТПО", 2015



*рая из рая*

Я дотронулась до ее теплой руки, которая лежала на руле велосипеда и спросила:

— Какое сегодня число, Рая?

Она, немного подумав, ответила:

— Двадцать седьмое.

Значит, осталось пять дней до первого экзамена, а я не помню, какие экзамены сдавать, — кажется, математика, русский, английский и основы права. Какого права?

— А ты готовишься к экзаменам? — снова ее спрашиваю и похолодевшим нутром уже понимаю, что она, как и все в классе, готовится к экзаменам, и только я не задумывалась об этом и проводила время как всегда в своих фантазиях.

— Да, — сдержанно отвечает она и молча идет дальше по каменной мостовой вверх. Эта улица выложена серыми

булыжниками еще в позапрошлом веке. Вдоль нее стоят деревья с майской молодой листвой, и на улице нет никого, так как раннее утро и все еще спят. Двухэтажные деревянные дома тоже спят, слепо отражая свет утреннего солнца. Только воркующие голуби и суетливые воробьи создают иллюзию жизни. Мне всегда казалось: жизнь это всего лишь иллюзия. Убери одного человека, другого, третьего... и нет никакой жизни, а только притаившаяся природа, которая то ли жива, то ли мертва и ничего не чувствует, как не чувствую я, лежа в постели утром.

Девушка молчит, и я не знаю, о чем с ней говорить. Она всегда была двоечница, молчаливая двоечница. На уроках не отвечала на вопросы учителя, на переменах — на вопросы одноклассников. Со мной она заговаривает редко, когда я уже перестаю надеяться на то, что она что-то скажет. Но она всегда рядом и всегда готова сопроводить меня в моих длинных молчаливых прогулках по городу и за его пределы.

— Рая, ты из рая? — спросила я ее однажды. Она промолчала. Конечно, из рая, подумала я, она ведь не успела сделать ничего плохого в этой жизни, ни одного греха. Что она может знать о нашей жизни, о моей, когда я замышляю такое, о чем я расскажи кому-нибудь... Но пока рано об этом говорить. Я и Рае не говорю, хотя, кажется, что она все понимает и поэтому не хочет огорчать меня своими комментариями и замечаниями. «О, познай восторг, — бормочу я себе под нос. — А на меня не оглядывайся. Мне жить в ночи».

— Что ты сказала? — вдруг спрашивает, встрепенувшись, моя спутница.

— Это слова безумного капитана из «Левиафана-99» Рэя Бредбери, центонная повесть по «Моби Дик», — отвечаю я. — Вчера прочитала и вот это запомнилось.

— Ааа... — понимающе тянет она, словно припомнив эти слова. Она не может их помнить, так как не читает книг,

я знаю. Мы поднимается с ней на площадь перед рынком, с пожарной каланчой и улицами, расходящимися в разные стороны.

«Куда?» — задает молчаливый вопрос Рая и выжидательно смотрит на меня. Теперь молчу я. Сейчас бы просто взять и уехать по дороге, выходящей из города вдоль реки и ехать по ней безостановочно, пока не устанешь. А когда устала бы, то села на обочину или немного отошла бы в сторону по проселочной дороге поближе к лесу и легла бы на траву, глядя вверх, на проплывающие облака. Но у меня нет с собой ничего, ни рюкзака, ни воды, ни простого бутерброда с маслом. Надо возвращаться домой. К тому же у меня осталось немного времени. Всего два дня. Да, пожалуй, два дня. Тянуть можно еще месяц, но придется тогда готовиться к экзаменам, бессмысленно сдавать их, тратить бездарно время, когда это время существует для того, чтобы просто жить, проживать его, погружаясь в его толщу и глубину, чувствуя на язык, на ощупь, на глаз и слух его краски и звуки, намазывая его плотные, маслянистые качества на свежий ржаной хлеб, запивая его пузырьками воздуха, рассыпавшимися в минеральной воде.

Дома я еще раз просматриваю комментарии на мой запрос в сети и убеждаюсь, что я поняла все правильно. Не верится, что такое смогу сделать, но другие же смогли! Поэтому я не сомневаюсь в своих силах — зря что ли пятерки по всем предметам! Правда, химия и физика всегда давались хуже прочих, но это мелочи, посидеть на полчаса подольше, и все становится понятно.

«Я люблю тебя, я люблю тебя...» — повторяю бессмысленные слова из песни, которые, как ни крути, точно не понимаю. Что значит любить? Вот меня любит мама, она заботится, сейчас приготовила мою любимую крошку со сметаной, а завтра, в воскресенье, испечет мои любимые пироги с капустой. Она оплачивала мою учебу в художе-

ственной школе, сидела со мной в больнице, когда я лежала под капельницей с воспалением легких. Постоянно беспокоится обо мне, названивает, если я задерживаюсь. Наверное, и отец меня любит, хотя мы с ним почти не разговариваем. Целые дни он проводит на работе, а потом — в гараже, ремонтируя и перебирая составные части машины. То есть я надеюсь, что он меня любит, это же полагается, любить свою дочь, даже если нет никаких явных признаков этой любви. «Он тебя любит», — говорит мама, и я ей верю. Соседняя девчонка лет десяти страстно любит кошек. Она не может пройти мимо любой, увиденной ею на улице. Обязательно остановится, присядет, погладит, поговорит с каждой. Ей бы волю, она бы всех собрала под своим крылом, всех бы принесла домой, но родители ей этого не позволяют.

И я люблю... наверное. Просто я в этом не уверена, иначе если бы назвать это любовью, то было бы странным называть любовью все прочее. Я не могу точно назвать свое чувство как любовь. Тогда что это? Очарованность? Я так же не могу найти слово для состояния, когда я засыпаю, когда мне кажется, что я нахожусь в какой-то сфере, окруженной пространством, похожим на космос, где мерцают крошечные звездочки, и я сама же смотрю на саму себя откуда-то с края этого пространства. В эти мгновения я не чувствую своего тела, как и саму себя, а есть что-то такое, что перекручивает меня и складывает в фигуру, напоминающую кубик. Да, я так и называю иногда условно, не найдя других слов для этого чувства, чтобы просто помнить — «чувство кубика». Единственно, что я могу сказать определенно, оно мне нравится. Так же, как мне нравится любить Вадима.

Я думала, что Рая на меня обиделась, когда ей пришлось сесть за другую парту одной. Однажды, зайдя в класс на первый урок, я увидела за своей партой Дениса, друга

Вадима. Он, улыбаясь, смотрел на меня. Я в недоумении остановилась, не понимая, в чем дело.

— Можно, я буду сидеть с тобой? — спросил он.

Я растерялась, не зная, что ответить, а как же Рая? Она же сидит рядом, он, что, не понимает? Но тут до меня доходит, что Денис мне нужен, он будет мне рассказывать про Вадима. Молча Рая села на последнюю пустую парту. Она не смотрела на меня всю неделю, проходила мимо, не глядя в мою сторону. Что ж... это понятно, да... что бы я сделала на ее месте, стала бы выяснять отношения, когда и так понятно, что предпочли не меня? Но она же знает, что кроме как от Дениса мне не от кого узнать что-то о жизни его друга. Я кивнула головой, и Денис бросил рюкзак рядом с партой, усевшись справа от меня.

Это было странное соседство. Я совершенно не понимала, что ему можно сказать, и он меня ни о чем не спрашивал. Как-то я собралась с духом и напросилась к Денису в гости якобы взять из библиотеки его родителей пару книг, надеясь, что он что-то мне все же расскажет про Вадима. Мне казалось, что их долгая дружба оставила в квартире Дениса какой-то тонкий отпечаток Вадима, что следы его должны как-то обозначиться. Денис книги дал, но про друга не произнес ни слова, а я не придумала, как его об этом спросить. И никаких следов пребывания Вадима я не заметила, кроме шахмат на диване, в которые они играли иногда на перемене. Я предложила поиграть в шахматы, хотя у меня эта игра не вызывала, честно говоря, никакого интереса, просто хотелось еще впитать атмосферу места, где так часто был Вадим, уловить невидимые его отзвуки и отблески в воздухе. Задумчиво перебирая шахматные фигурки, я сидела на диване, недоумевая, что я здесь делаю, но и отмечая это обстоятельство еще и как доказательство того, что мои ощущения не имеют никакого отношения к реальности. Наконец, равнодушно проиграла обрадовавшемуся победе

Денису, решив, что незачем лишний раз напоминать ему, себе и Вадиму, что между нами что-то есть. Нет ничего, и не было. Да, ничего не было.

Не было моего прикосновения к его шее, которая беззащитно и нежно выглядывала из воротника белой рубашки. Помните гравюры Китамаро Утагава с японскими красавицами, с обнаженными шеями и, так называемым японцами, «кошачьим местом»? Шея существовала как бы сама по себе, слегка загорелая с белой кромкой по краю подстриженных волос, зовущая, притягивающая взгляд так, что моя рука, не я, не смогла удержаться и опустилась на нее, ощутив восхитительное тепло кожи. Он с недоумением оглянулся, ничего не сказав, и я отдернула руку, не понимая, зачем я это, вообще, сделала. С тех пор я смотрела на его затылок, смутно припоминая и спрашивая себя, на самом ли деле, трогала я его за шею? Мне достаточно было знать, что он здесь, в классе, сидит за партой прямо передо мной. Я чувствовала тепло его кожи кончиками пальцев, едва посмотрев на его волосы.

Наташа, сидящая рядом с ним, тогда ничего не заметила. Они сидели рядом вот уже два года, вместе ходили в кино, он всегда провожал ее домой, это я знала. И больше ничего не было мне известно, хотя и большого любопытства не было. Денис мне мог бы все же что-то рассказать. Но он не рассказывал, а только нес какую-то чепуху про войны всех времен и народов. На уроке он рисовал в тетради минные поля, наносил какие-то знаки, обозначавшие разные рода войск, вел невидимые миру сражения и все больше меня отталкивал.

Несколько лет существование Раи мне не казалось загадочным. Попав под машину во втором классе, по дороге домой из бассейна, куда мы ходили всем классом учиться плавать, она все лето лежала в больнице. Многие думала даже, что она умерла. Но она выкарабкалась из



клинической смерти, отлежалась в реанимации и пришла в третий класс. Только с тех пор она вела себя тихо, как мышка, и никто ее почти не замечал. И я ее почти не замечала, изредка мелькавшую между нами, почти утратившую дар голоса, так что учителя ее не спрашивали на уроках, и она каким-то образом после уроков иногда отчитывалась по предметам. Увидела я ее отчетливо в восьмом классе, когда оказалось, что после отъезда моей единственной подруги из семьи военных в другой город, мне сидеть не с кем. Все в классе оказались чуждыми, ни с кем у меня не было близких отношений, и я осталась по сути одна. С каким трудом мне приходилось вставать каждое утро и идти в школу, ощущая как бы клеймо своей отчужденности от одноклассников и их отчужденности от меня. Я не понимала, чему они смеются, чему возмущаются, не понимала, о чем можно было с ними говорить. На переменах я оставалась сидеть за партой или стояла отдельно ото всех, зевая и еле-еле дожидаясь конца перемены. На уроках было легче. Надо было что-то читать, писать, отвечать... и это было понятно и просто. С великим облегчением я шла домой, испытывая долгожданную легкость бытия. Казалось, такая жизнь будет у меня длиться до окончания школы, как однажды к моей парте подошла Раиса и, не спрашивая меня, уселась рядом. С ней было спокойно. Мы почти не разговаривали в школе. Но по дороге домой, а она всегда меня провожала до дома, она меня внимательно слушала, изредка вставляя слова. Вместе с ней мы ходили в художественную школу, куда она меня так же провожала, объясняя тем, что ей нравится гулять по городу.

В конце концов, меня не удивило, что ее фамилии нет в классном журнале, что ее, вообще, кроме меня, никто не видит! Какая разница, — она стала моей единственной подругой. Доверившись, она рассказала, что после аварии она на самом деле умерла и попала в такое место, где улыбающиеся

ся люди ходят одетые в белое, вокруг свет и облака... Ей там было одиноко и не понравилось, она любила родителей и школу, где успела проучиться всего два года, и ей хотелось вместе с нами учиться дальше. Поэтому она вернулась и по-прежнему жила дома, по-прежнему ходила в школу, даже если здесь ее никто не замечал.

— Меня и раньше не замечали, понимаешь, — пыталась она объяснить свое решение. — Так что по сути ничего не изменилось. Сейчас даже лучше, не надо учить уроки, никто ни о чем меня не спрашивает, а я учу, что хочу. И вообще, все стало лучше. Я вот общаюсь с тобой, а при жизни ты бы никогда не стала со мной разговаривать. Я же двоечника и родители у меня нищие алкоголики.

— Я вот отличница, а разницы никакой не чувствую, — отвечаю я.

Денис открывает рот и хочет что-то сказать. Он заикается, когда волнуется. «Ну, — мысленно я начинаю раздражаться, — скажи хоть что-нибудь»

— Инна, — едва выговаривает он, — пойдем сегодня в кино?

— Нет, — нисколько не задумываясь, автоматически отвечаю я, — я занята, у нас готовится выставка в школе, надо оформлять работы — сочиняю зачем-то на ходу, хотя я не обязана отчитываться перед ним за свой отказ. Он мне кажется отвратительным еще больше, и я начинаю придумывать, как его попросить отсесть от меня. Он стал мне особенно мешать после вчерашнего разговора о том, кто и куда будет поступать после школы. Вадим, оказывается, уедет в другой город поступать в мединститут. До меня постепенно начинает доходить, что я его, пожалуй, и не увижу больше. Не понимаю это, зачем куда-то уезжать, когда и так уже все есть здесь, в нашем городе. Нет мединститута, но зачем он, вообще, нужен? Все прочее, необходимое для жизни, ведь есть. Зачем это все, я снова не понимаю. Я отвора-

чиваюсь от Дениса, от его незащищенных глаз, тихо его ненавижу. После слов Дениса я мучительно задумываюсь, что будет, когда Вадим исчезнет из города, и эта мысль не дает мне покоя.

Передо мной уже нет сладкой парочки Вадима и Наташи, они пересели, поменявшись местами. Это Наташа, конечно, сбежала. Она оберегает его от «дурного глаза», как мне объяснила Рая. Глупости, конечно, поэтому я и не могу с ними разговаривать, в голове у людей — опилки. Но притяжение, магнетические нити меня связывают с ним, в каком бы углу класса он ни находился. Я чувствую его присутствие, которое наполняет смыслом всю мою жизнь. Если даже не смыслом, то таким, чему нет снова названия. Это можно сравнить с составом воздуха, в котором непременно должен быть азот. Он есть и этого мне достаточно ощущать. Достаточно знать, что этот парень с голубыми глазами и уже отросшими почти до плеч темно-русыми волосами где-то рядом. Я рисую его портрет дома, пытаюсь понять, что в нем есть такого, что меня притягивает. Мне совершенно все равно, что у него есть какие-то отношения с Наташей, так как я все равно не знаю, о чем с ним говорить. Однажды он меня что-то спросил, встретив на улице, про художку, кажется, и я остолбенела, провалившись в мучительное смешанное состояние радости и страха, совершенно не представляя, что я должна ответить. Пробормотала какую-то ерунду и с тех пор стала сама его избегать.

Его портреты, которые рисовала, я никак не могла закончить. Иногда мне казалось, что я нашла то, что в нем есть, то отличное ото всех, а иногда я разочаровывалась и видела, что все совсем по-другому. Я никак не могла поймать его ускользающую суть. Пыталась фотографировать на телефон, но фотографии были неудачные, плоские, не похожие на него. Я никак не могла отразить то ощущение тепла, которое исходило от него, а на портретах все было

как будто выпотрошенным, лишенным жизни. Но иногда казалось, что все же я что-то уловила, и тогда я долго могла смотреть на его лицо, которое, казалось, что-то возвращало мне самой, давно утраченное в детстве.

— Раиса, как ты думаешь, куда я попаду, когда умру? — спрашиваю я свою подружку. Она молчит, не знает, двоечница. А я боюсь, что не попаду туда, куда попала она и куда может вернуться, только пожелай. Я пытаюсь найти уравновешивающие, смягчающие обстоятельства — вот она двоечница, а попала в рай, я же отличница и что, я разве не заслужила какие-то преимущества, послабления при распределении участи в посмертной жизни? Неужели я не смогу даже остаться в этой, по мнению многих моих одноклассников, убогой жизни в нашем, по их же мнению, убогом городке? Все они собрались немедленно сбегать из него после окончания школы. А мне нравится наш город, и я хочу остаться здесь жить и хочу, чтобы остался Вадим. И я придумала уже, как это сделать. Все же удивительно, как он не чувствует, что его место рядом со мной, а мое — с ним, что мы рождены друг для друга?..

Взяв в руки пакет с компонентами, я отправляюсь в гараж. Папы там сегодня нет, он уехал на рыбалку и мне никто не сможет помешать. Высыпав все из пакета, раскладываю перед собой. В общем-то, нет ничего сложного. Сложнее рассчитать момент, когда мы останемся вдвоем, чтобы рядом никого не было. Не хочу, чтобы рядом был кто-то еще из класса, кроме Раисы, конечно, — ей уже все равно. Да, пусть едут, пусть поступают, пусть... А мы останемся здесь. Все составляющие я купила на это неделе, пришлось потрудиться, поискать кое-то. Это того стоило.

В понедельник предстояло последнее совместное классное мероприятие — кегельбан на берегу реки, в красивейшем месте на окраине города. Я дошла до него пешком, боялась, что в автобусе моя бомба может непредвиденно

взорваться. Осторожно несла пакет в руках, смотрела под ноги, тщательно переходила дорогу. Пришлось час добираться до места встречи с дорогими мне одноклассниками. Я не могла позволить себе ехать на машине или автобусе. Устройство должно взорваться тогда, когда я запланировала. Я помнила, что случилось с тем парнем, который вез бомбу пять лет назад, когда в центре города утром взорвался автобус. Переположившийся город решил, что волна терроризма докатилась и до нашего богом забытого городка, но комиссия сделала выводы, что этот взрыв был результатом неосторожности студента, который с самодельным устройством ехал на учебу. Оно сдетонировало по дороге и взорвалась, унеся пять жизней и покалечив пол-автобуса. На месте взрыва еще долго стояли живые цветы и фотографии погибших. Целый день народ отсиживался по домам, опасаясь садиться в общественный транспорт. В общем, паренек что-то задумал другое, как я поняла, не взрыв на колесах, но что-то, что осталось тайной. Никому не известно и где он захоронен. Мать испугалась мести родственников погибших и захоронила его в законспирированном месте.

— Может, не надо? — почти шепчет Раиса. Она не знает, куда мы с Вадимом попадем после взрыва и смерти. А вдруг все случится не так, как с ней? Она неодобрительно качает головой и с опасением смотрит на пакет.

— Отойди от меня, — прошу я ее, потому что боюсь, что могу споткнуться, глядя на подол ее развевающегося платья. Сегодня она надела свое белое платье, хочет красиво попрощаться с одноклассниками, а я вот такой сюрприз им и ей приготовила! Раиса необыкновенно разговорчива по дороге. Она вопреки своей необразованности, оказывается, много знает о загробном мире. Говорит, что атеисты попадают в полную темноту, а вдруг Вадим — атеист? Мы даже затеваем философскую дискуссию на тему, ждет ли

каждого одно и тоже после смерти или всех — индивидуальный вариант загробной жизни, сообразно с его верой. Я рассказываю ей историю про древнеяпонских гейш, которые совершали двойное самоубийство с возлюбленным, веря, что после смерти они будут вместе навсегда где-то там... в другой реальности. Рая с сомнением качает головой:

— Он же не твой возлюбленный, — говорит она.

— А кто же тогда, если я его люблю, — возражаю я, чувствуя несколько шаткую почву под своими словами.

Я придумала заранее, что я вызову Вадима на улицу, протяну ему пакет с бомбой, и мы вместе благополучно взорвемся вдалеке ото всех. Так почти все и получилось. Мы встали рядом с чугунной оградой, отделявшей площадку перед зданием от крутого обрыва над рекой. Вид отсюда был, конечно, чудесный. В такой день можно было и умереть в свете заходящего солнца, под шум деревьев и крики чаек, и одновременно я уже чувствовала, что меня в этот вечер по-настоящему уже не было. Я протянула ему пакет, предложив посмотреть, что там, и приготовилась его уронить, как вдруг невесть откуда взявшаяся Раиса с силой толкнула пакет, и он, улетев вниз, взорвался там с великим грохотом. Огонь и столб дыма взметнулся к нам. Вадим отпрыгнул в сторону, а на шум выскочили все, кто был в кегельбане. А я, кажется, упала в обморок, потому что ничего, что было после этого, не помню. Во время взрыва во мне порвалась связь с этим парнем с синими глазами и красивой шеей, с этой местностью, что-то взорвалось во мне самой.

В больнице я провела месяц, а потом благополучно окончила школу на серебряную медаль, не готовясь к экзаменам, — а к чему? Я и так все всегда знала, — отличница. Летом уехала из нашего городка, так как не хотелось оставаться здесь, где меня хотели посадить в тюрьму родители Вадима. Сейчас учусь в университете и приезжаю к родителям на каникулы. Рая осталась в нашем городе, хотя я ее звала с

собой. Нет, она сказала, у нее все здесь есть — ее родители, дом, улицы, река... Она просила писать ей чаще письма на ее почтовый адрес, что я и делаю постоянно, вот он: `raisa@list.ru`. Я пишу, и она мне отвечает, как обычно, лаконично и односложно. У нее все хорошо, с родителями все прекрасно, гуляет по городу теперь одна.

Меня иногда посещают странные сомнения: порой кажется, что тогда, на площадке рядом с кегельбаном, Рая к нам не подошла и вспышка света была не внизу крутого обрыва, а прямо передо мной...



## *Молитва за Виссентина*

Только усталый достоин молиться богам...

*Н. Гумилев*

После того, как мне исполнилось тридцать семь лет, мой образ жизни стал каким-то «загробным». Тягостное ощущение, которое сопутствовало этому периоду, продолжалось несколько месяцев. Я просыпалась или слишком рано, или слишком поздно и одинаково не хотелось вставать и продолжать привычные дела. Настолько привычные, что они уже не представлялись чем-то однажды и довольно случайно выбранными из тысячи возможных, но единственно верными, предназначенными для меня и освященными продолжительностью их существования. Путь, который стал в конце концов моим, не представлялся все же уготованным именно мне или, если быть еще откровеннее, совершенно моим, или



даже в основном моим. Особенно сильно я стала подозревать свою энергичность, ту силу, с которой я добивалась самоутверждения. Чтобы казаться убедительнее, я напористо произносила фразы, в истинности которых сомневалась тут же, но про себя. Но слова, сказанные так определенно, придавали мне имидж вполне законченный, маска удавалась и постепенно становилась частью меня самой. Последовательно совершались следующие шаги в этом направлении, и вот я оказалась здесь и сейчас. Активная целеустремленная женщина, которая почти добила «того, что ей нужно». Вот это «почти» и вызывало главное сомнение — не добилась, потому что еще не сделала окончательное победное усилие или потому, что, вообще, шла не тем путем? И это «почти» представлялось спасительным намеком на последний шанс отказаться от выбранной цели и найти другую, настоящую.

Я проводила недели на диване, слонялась по комнатам, пила чай. Из дома почти не выходила, даже если многочисленные звонки звали к немедленному действию. Без всякой на то необходимости лежала в ванной часами. Какая-то неуловимая мысль блуждала сама по себе в глубинах мозга и не могла всплыть на поверхность. Иногда я все же срывалась и неслась улаживать остановившиеся дела, но по ночам мне становилось до отчаяния тоскливо, нестерпимо гадко. Какие-то незначительные эпизоды из прошлого преследовали с угрожающей настойчивостью, как загадки сфинкса, не разгаданные и поэтому предвещавшие смерть.

Смерть! Именно смерть вывела меня из этого состояния. Смерть Ван Гога. Эта мысль вдруг заставила меня проснуться и вывела из состояния затянувшейся душевной летаргии. Ван Гог умер в тридцать семь лет. У немцев есть пословица «вот такой человек живет, а Шиллер должен был умереть». Я была жива, а божественный, измученный человеческим непониманием и ограниченностью, Винсент в

это время уже не выдержал этой бесконечной напряженности выживания и умер. За свои тридцать семь лет он прожил три жизни — был продавцом картин, проповедником для бедных людей и художником, каждой из которых он отдавался до конца, до последнего трепещущего нейрона уходя в выбранную роль. Или не роль. И вот он ушел в четвертое измерение. Кому бы помешало, если бы остался жив? Людям? — нет, наоборот, кое-кому он очень нравился, а брат его Тео так даже жить без него не захотел. Ему самому? — его болезнь, конечно, была выматывающей, но он нашел свое отношение к ней, сохраняющее его как здорового человека. А он был здоров! Припадки не входили в его жизнь как нечто, что меняло ее сердцевину. Он старался, вообще, не вспоминать болезнь, если она его не застигла врасплох. Да, вот что все же было не хорошо - именно это врасплох. Сохраняя свой разум, он не допускал болезнь в мысли, а сразу как будто забывал ее, не давая ей пустить там обширно корни. И она набрасывалась на него внезапно, когда он не ждал ее, не был готов к встрече.

Неблагодарны рассуждения на тему, «что было бы, если бы...», но этот случай с Ван Гогом как будто приподнимал занавес над моей собственной томительной жизнью, и само собой получилось, что я стала думать о возможности продолжения жизни художника, если бы он остался жив после смертельного выстрела в живот. К этому времени он создал все свои произведения, которые сделают его позже знаменитым. Не было необходимости писать дальше, пытаюсь пробить стену равнодушия и отчуждения. Он бы, конечно, все равно писал, иначе бы он перестал быть Ван Гогом. Да, именно, если бы он перестал быть Ван Гогом, неистовым и фанатичным. А стал бы вслед за художником кем-нибудь другим, как когда-то перестал быть продавцом или проповедником. Можно было бы возразить, что прежде для него действительно было ролями, а вот быть ху-

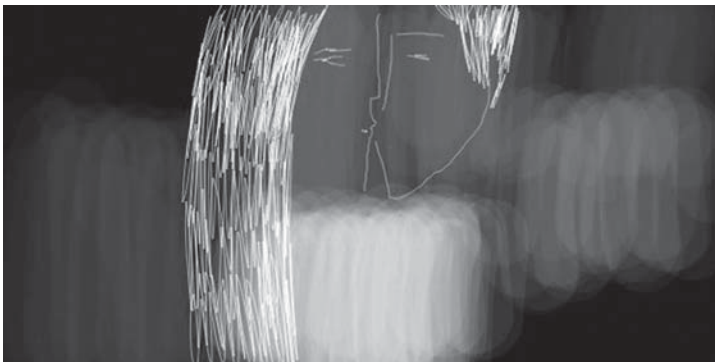
дожником — его настоящее призвание. Кто знает, кто знает. В письмах к Тео он признавался, что он неудачник, что признанным художником ему не стать. Он все же искал удачу, надеялся на успех при жизни. А если бы он окончательно утвердился, что рассчитывать на это действительно не стоит, то при наличии немногих сил не решился бы он хотя бы на бездействие? Ибо и на бездействие нужны силы и тем более, если человек по природе энергичен и деятелен. И все же, предположим, жизнь его доконала, вымотала, выжала всего как лимон, и вот «рок-н-ролл мертв, а я еще нет». Он просто мог бы сидеть и ждать либо интереса к своим работам и лавров, либо просто ничего не ждать, а влачиться по жизни как осенний листок. Он бы не перестал быть автором своих картин, и успех его бы догнал. Или не догнал, что было бы уже все равно. А жизнь, воспринимаемая с другой, пассивной, созерцательной стороны, возможно, смогла бы его заново напитать собой. Он бы спокойно смотрел на своих друзей, их героические потуги посрамить академистов и стать в искусстве первыми, смотрел бы на своего несчастного брата и его не менее героическую попытку создать семью и стать добропорядочным буржуа. Он бы смотрел и ничего не испытывал — ни радости, ни горя, ни ярких чувств, ни боли, ни желаний, — нирвана без мыслей, без слов, без снов, без образов. Бедняга к этому был готов: именно мощное душевное и мыслительное напряжение в результате может дать скачок в противоположность — в расслабленность, в бездействие, в покой, в остановку человеческих усилий и начало работы Бога в человеке. Он сделал все, чтобы приблизиться к Небу, — теперь Небо само спустится к нему. В свое время он был слишком страстным проповедником, слишком сильно желающим помочь людям стать немного счастливее. Увы, это оказалось не по плечу и не потому, что не хватило желаний и веры (прихожане считали его Христом), но можно ли сделать

людей счастливыми вопреки их желанию или вопреки их представлению о счастье, которое и не счастье вовсе, а прозябание. Но теперь он мог стать не проповедником, но молчаливым святым.

И мне пришла в голову странная на первый взгляд мысль, а что, если я проживу эту предполагаемую жизнь Винсента после смерти, «загробную» ее часть, вместо него? Пускай это напоминает что-то очень ненормальное, но именно эта идея стряхнула тяжелую сомнамбулию. Я вдруг всей кожей почувствовала освежающее дыхание нового образа жизни. Как будто бы и я умерла, вознеслась на небо и смотрю на свою жизнь откуда-то с облака. Слов не слышно, не видно подробностей, мелочи всякие не заметны — так, передвигается какой-то муравей несуетно.

За свою жизнь я, положим, не сделала всего того, чего нагромоздил Ван Гог, но с той же горячностью и одержимостью ковала образ другого мира. Камни разбросаны, наступила пора собирать их или ждать, что зубы дракона взойдут. Кажется, я уже начинала к тому времени подозревать, что мои семена могут прорасти чем-то иным, а не обязательно райскими цветами. Но ни в чем я не была уверена к этому моменту. И для меня все это уже не имело значения. Важно было, что жизнь продолжалась, но уже под другим зодиакальным созвездием. Ночное небо повернулось другой стороной, что от меня не зависело, а зависело, принять мне новый этап или не принять его, делать вид, что все, как всегда и по-прежнему или не делать этого вида. Я не буду взрывать мосты, — со временем они сами обрушатся, не буду рвать знакомства, — они сами... Останется только самое главное, без чего жизни быть не может, ничего активного, сплошное инь, тотальное бездействие.

Я живу за тебя, Винсент.



Говорю

Женщина долго стояла у окна, прижимая трубку к уху. Длинные гудки и начинающийся дождь за стеклом, казалось, отрывали ее от мира, ото всего того, что волнует и тревожит всех на свете, но только не ее... Она давно не смотрела телевизор, не слушала радио, не читала газет, — асоциальная женщина, комментировал ее поведение муж. Из жизни Нина давно выпала, и иногда ей казалось, что существовала только звонками.

Так прошло два дня, потом еще два в полном опустошении. Сказать ей больше было нечего и некому. Он уехал и даже куда уехал, она не знала. Что ж, пусть будет так.

Своему мужу Нина могла помочь только в сексуальном плане или бытовом, но уже не существенно. Ребенок учился в другом городе, а ее психолог вынес ей вердикт: возрастной кризис. У кого кризис, задавала она себе вопрос,

— у нее или у ее альтер-эго, дворника Расулова, — они же срослись, стали одним целым.

...Мужчина схватил стул и с силой треснул его об пол. Ровное гудение электрических проводов стало слышнее. Казалось, они гудели в его голове, потрескивая искрами, прожигали оболочки головного мозга, которые плавилась и капали на пол. Он упал на диван, отвернувшись к стене, крепко зажал голову руками и не потому, что как-то особо дорожил содержимым своей головы, а потому что звук капель начал сотрясать все его внутренности. Железная мембрана в носоглотке резонировала и покрывалась изморозью. В эти минуты он готов был разбить свою голову, только чтобы не слышать эту адскую музыку. Звуки усилились до визга и вдруг все пропало. Звенело в голове, но звон уже напоминал позвякивание серебряной ложечки в стакане. Человек медленно встал, подошел к зеркалу, осторожно посмотрел на отражение: что на этот раз? — нижняя губа сочилась кровью. Это мелочи, подумал он и стер ладонью кровь, посмотрев на телефон. Тот молчал. В этой квартире был стационарный телефон, от которых обычно люди отказываются. Весь мир говорит по сотовым, но здесь телефон почему-то не был отключен, в этой крохотной малосемейке. А на сотовом у него денег не осталось.

Только издалека Нина видела его, высокого худого таджика с красивым коротко остриженным черепом, одетого в грязную старую куртку неопределенного цвета и висящие на нем широкие джинсы, подобранные, наверное, на помойке. Ее муж, работающий начальником эксплуатационного участка, устроил Нину «подснежником» в ЖЭУ, где она работала как бы дворником, чтобы у женщины была возможность минимальной пенсии, когда она окончательно состарится, станет старушкой-цветочком, глухой и немой, потерявшей всякую ориентацию во времени и пространстве. Поэтичное название «подснежник» на самом деле

имеет довольно inferнальный смысл — так называют трупы, вытаявшие после зимы из-под снега. Врожденная астения и еще что-то («лень», — подсказывал супруг) не давали ей утвердиться в трудовой роли надолго и убедительно. Нина ушла примерно с пяти работ, после чего поняла — это точно не для нее. А что для нее до сих пор не знала. Поэтому «возрастной кризис» звучал для женщины иронично. Наверное, у меня один кризис плавно перерастает в следующий, никогда не обретая окончательную точку, думала она.

— Дорогой, — обратилась она однажды к мужу после просмотра какого-то сериала, — созвучие с человеком происходит по сути как созвучие с погодой. Мне созвучна гроза, гром и молнии, тихий заход солнца, весенний дождь, первый снег и не стоит, наверное, обольщаться, что это до поры до времени скрытое внутри, вдруг обретет форму в виде человека. Может задеть разрез глаз, выражение лица, невзначай сказанное слово... и воображение услужливо дорисовывает весь внутренний пейзаж другого человека так похоже, так точно отражающий наш собственный, незримый.

— Или нет, надо обольститься, ощутить до конца это сладкое звучание резонирующих струн, услышать в себе эти гармоничные аккорды и принять их как что-то глубинно свое. И вот чужая душа, которая, разумеется, потемки, вдруг просветляется карманным фонариком и узнается в переплетении ветвей — переплетением рук, в блеске капель — блеском глаз, в недосказанности — великим смыслом. Наконец, если вообще такое происходит, понимаешь, что собственный трепет, волнение и озарение отразилось в лице другого, ты их увидела, запомнила и сохранила как пьесу в тетради, как пейзаж в окне, как леденец на языке...

— Кстати, гром и молния, если каждый день, то надоест до смерти.

Муж выслушал все это с легким отвращением и отвернулся, уткнувшись в телевизор. Ее не понимала и собственная двоюродная сестра.

— Поражаюсь, как ты можешь не работать, чем ты занимаешься целый день? — удивлялась она, жившая в другом городе и только летом приезжающая в гости на неделю. Вот у нее точно был кризис среднего возраста. У Оли никогда не было семьи и ребенка. Она постоянно искала идеального мужчину, от которого могла бы забеременеть, и который был бы достоин заключения с ним брака. Купила квартиру, которую обставляла в «деревенском» стиле, целыми днями бегая по посудным лавкам, выискивая ее. Она носилась по городу в прошлый отпуск, тщательно выбирая горшки и сковородки, но в конечном итоге так и не выбрав идеальные. Оля бесконечно удивлялась «прохладному» образу сестринской жизни, ее способности сидеть дома, никуда не выходя дальше ближайшего продуктового магазина. Сестра же, накупив коротких юбок, требовала удовольствий и развлечений. То лето выдалось жарким, днем асфальт плавился, и над ним раскаленный воздух висел маревом, искажая как в кривом зеркале однообразные многоэтажные дома. И выходить куда-то в городские джунгли представлялось безумием.

В юности Нина мучила ее тем, что сама таскала за собой по всему городу в поисках приключений. Сестры бродили по самым отдаленным местам пляжа, попадая внезапно под проливной дождь, заходили во все подворотни, если они казались Нине таинственными. Она познакомилась на улице с парнем, загипнотизировавшим Нину своими абсурдно смотревшимися красными носками, подсев к нему на скамейку. После того, как Нина уехала домой, парнишка, очарованный сестрами, хвостиком ходил за Олей и писал большими буквами на стене ее дома, что мол, ни-



когда ее не забудет и все в таком духе. Сестра, смущенно всегда прикрывавшая балахонами свою большую грудь и надевавшая юбки не выше колена, стеснялась такого кавалера, а ее отец, нинин дядя, замазывал краской надписи на стене. Зато потом сестра вспоминала все его безумства, которые он творил во имя ее. Такого в жизни больше никогда не повторилось.

Теперь же Оля изумляла своим внезапно раскованным поведением, торчавшими лямками черного бюстгальтера из-под белого платья, едва прикрывавшего ее могучие бедра с огромным принтом в виде розовой клубники на груди и животе.

— Я ошибалась всю свою молодость, — смущенно-радостно Оля сообщила как великую новость свои нынешние убеждения, — жила, как будто мне шестьдесят лет, и вот только сейчас я почувствовала, что мне всего сорок, что осталось немного, совсем чуть-чуть. Какая я была дура! Мне казалось, что ноги у меня кривые, грудь слишком большая, и сама я некрасивая. Между тем, всегда напоминала ей Нина, она была похожа на голливудских красоток. И вот теперь сестра решила, что пора пожить в свое удовольствие. Нина со вздохами брела за ней в поисках приключений, давно забыв, что это такое. Десять лет, отданных больному ребенку, больницам и быту отучили женщину от простых радостей жизни. Нина превратилась почти в инвалида, которому за счастье было подольше поспать.

Поздно ночью сестры возвращались домой, после того как повалялись на пляже под бешено палящим, как в последний раз за это лето, солнцем. Оля знакомилась там с мужчинами, искавшими таких же знакомств. Они бродили по летним кафе, сестра танцевала с возбужденным лицом, привечала желающих провести с ними время, угостить алкоголем, поводить по барам и ресторанам. В такие моменты Нина только напыживалась и каменела, когда ее пытались

пригласить на танец или подмигивали, приглашая за столик. Она с изумлением смотрела на вакхически изгибающуюся на танцполе сестру, высоко взмахивающую руками над головой, ее блестящие глаза, когда она, запыхавшись, подошла к столику, где Нина ее беспокойно ждала, нервно всматриваясь в густеющую темноту вечера, прикидывая, на каком автобусе им возвращаться домой. И к ним приставали алкоголики, темные личности, которые шлялись в двенадцать часов ночи по улицам и которым казалось, что они, две женщины неопределенного возраста, вполне подходящая компания для них. Так ведь оно и было, хотя Нина отмахивалась от назойливого, опасного внимания, а Оля смотрела, улыбаясь, создавая как бы двусмысленную ситуацию, которую можно было понимать и двояко, и тройко. Однажды один творческий алкоголик выступал довольно занятно, цитируя стихи, выдавая цветистые комплименты и можно было бы его и послушать, но муж названивал каждые десять минут, требуя их немедленного возвращения. Впрочем, Нина тогда и не собиралась оставаться на улице, подчиняясь ходу событий, вовлекающих их в подозрительные события. Дома мрачная физиономия мужа смотрела с укоризной, он вздохнул с облегчением, когда сестра уехала. И только в последний вечер почти всю ночь они посидели вдвоем.

Нина заварила зеленый чай «Липтон» и сестры пили его с адыгейским лесным медом. В аромалампу с китайскими драконами Нина накапала масло дамасской розы и шалфея, в ней стояла одна свеча с двумя фитилями, так она быстрее и жарче горела. Но один фитиль все время угасал и, наконец, утонул в расплавленном парафине.

В стеклянной вазе с травой Нина поменяла растения, они осыпались сухими хлопьями на подоконник. А на кухне ее ждала покинутая на неделю орхидея, ее надо было полить...

— Чем дальше, тем больше растения мне становятся ближе, — говорила сестре Нина, — этот полуживой-полу-мертвый мир. В школе я никак не могла взять в толк, что растения относятся к мертвой природе, вроде, так было сказано в учебнике природоведения. И только позже стало известно, что жизнь — такое ускользающее понятие, что порой очень трудно провести четкую черту, установить ясную грань между растениями и животными среди примитивных видов.

— Так вот и среди людей трудно порой определить этот водораздел между теми, кто вроде жив и вроде помер. Бывает такой активный, суетится, много говорит, крутится среди людей, добивается чего-то, носится по всему городу и стране... А начнешь общаться и ... то ли я умерла, то ли он. Говорить не о чем, незачем и только возникает чувство тяжести и бессмысленности. Но, может, понятия о жизни у нас просто разные, как у растений и животного, животного и человека...

Почти утонувший фитилек тем временем умудрился вынырнуть и разгорелся ярким светом, и они оба почти плавали на расплавленной поверхности свечи.

— Ну и ну, — недоумевая, качала головой Оля.

После отъезда Оли Нина вдруг ощутила в воздухе завихряющийся след ее внезапно проснувшейся буйной энергии. Тогда и сейчас Нине было бы страшно одной куда-то выходить надолго и далеко. В ее городе было небезопасно бродить по ночам, — подругу изнасиловали у подъезда ее же дома, а мужа подруги просто убили, пырнув ножом. Убили еще жену приятеля мужа, но уже не на улице, а в какой-то подозрительной компании.

Нине казалось, она умерла для той жизни, которая ее когда-то носила по долам и весям. Кофе, алкоголь, сигареты, концерты рок-музыки, травка — все давно за бортом. Теперь она даже презервативы покупала, стеснительно при-

крывая их купюрой и испуганно косясь на мужика, который запрещал кассирше продавать их Нине, решив, что это сигареты, что это, мол, вредно для женщины.

Он стал звонить каждый вечер, таджик, который работал вместо Нины. Позже она узнала, что таинственный дворник не был никаким таджиком, хотя был похож на них, азиатскую расу эмигрантов, — такой же заросший черной бородой, молчаливый. И по телефону он был молчалив. Он мог молчать, ожидая, что женщина скажет на его просьбу поменять дом, на котором она якобы работала в ЖЭКе. Дом «тяжелый», а руки у него болят от непосильной работы. Нина терялась и не знала, что ответить. Он просил не говорить о его просьбах мужу, его главному начальнику. Иногда он рассказывал о кошках, которые живут в его подвале и которых он кормил дорогим кошачьим кормом.

— Я хочу, чтобы ты поняла, — говорил он, — я совершенно тебе чужой человек, и я ничего не хочу от тебя. Даже не хочу, чтобы ты меняла дом, ладно, пусть, как будет, я потерплю, тем более, что руки уже почти перестали болеть, я привык. На что Нина только бормотала неловкие слова оправдания, она, де, не работает на самом деле, а только числится и сможет ли она ему помочь, не знает... Он клал трубку, и женщина, оглушенная этим бредом, сидела у окна, глядя на снег и представляла, как бы она гребла его лопатой, если бы на самом деле была таджиком Рустамом из Андижана.

Тупо я придумал с этим домом, думал Расулов, но я не знал, что ей говорить. А надо было что-то сказать, чтобы просто услышать ее голос. Голос был ангельским. Чтобы не было очередного приступа, ему нужно было просто послушать волшебный голос этой женщины. Кто-то в нем самом заморожено слушал эти звуки, кто-то в нем установил с голосом контакт, хотя самому Рустаму Нина казалась

совершенной чужой женщиной, женой жэковского жулика и воруги. Впрочем, какая мне разница, рассуждал он, мне хватает, чтобы платить за квартиру и делать вид, что меня нет, не существую, что никто и нигде меня не видит, не замечает. А женщина, — что ж, пусть будет, пусть говорит что-нибудь, все равно что.

Если он долго не слышал ее голоса, другой голос просыпался в его больной голове — электрические звуки, потрескивающие искрами, который уже днем возникали где-то вдальеке, среди ветвей, сквозь которые просвечивали облака и висели высоковольтные провода. Они начинали гудеть сначала там, в небе, потом у него в черепной коробке. Вечером, если Расулов не выпивал полбутылки водки, они начинали оглушительно трещать и сыпать тяжелыми искрами, прожигая все внутри, превращая мозги в пепел. Иногда недели проходили без всего этого, и Рустам мог спокойно смотреть телевизор, мог даже съездить за город порыбачить и потом приготовить рыбу на костре, то единственное, что у него осталось от прежней жизни. Он пресекал все мысли о прошлом, перечеркнул, — там ему не было места.

Иногда ему хотелось быть зарытым под снегом в маленьком домике. Нет связи с миром. Только кошка и собака поддерживают контакт с человеком. В кладовке — запас еды. Сколько он выдержит? Если есть книги, то дольше. Постепенно лопатой прорывается выход наружу, хотя там делать нечего — бесконечные вьюги по ледяной пустыне.

Позавчерашние гонки на собаках промчались прямо по заваленной снегом крыше домика. Собаки лаяли, а ненцы покрикивали: «Хэй-хыть!», что он сообразил парой минутой позже, проснувшись в неизвестно какое время, осознав эти крики над головой. Да, это были они, аборигены, живущие, по его представлениям, километров за сто или даже за двести от домика. Поздно было вставать, подавать какие-то

сигналы снизу. Подумал: надо бы свернуть что-то навреде трубы из картона — рупор, чтобы можно было покричать погромче сквозь эту толщу снега над головой. Собака твякнула что-то и повернулась на другой бок. А кот даже не пошевелился...

Бывали вечера, лишённые таких фантазий, когда, казалось, выламывались руки и ноги от этого звука искр и проводов, который усиливался до звука грохочущей бормашины и вгрызался в кости все глубже и глубже. Мужчина падал сразу на пол, чтобы не свалиться потом неудачно с дивана. Обычно страдало лицо. Однажды он упал прямо на зеркало в ванной, разбив его и разрезав кожу около глаз, чудом избежав того, чтобы порезать и веко, и сам глаз. Как-то сломал палец на руке, подвернув руку во время падения. Дворничихи с осуждением смотрели на привлекательного в своей молчаливости и доброте к животным таджика, представляя, что все эти приключения происходили с ним во время пьяных походов. Некоторые жалели его, трогали невзначай своими толстыми коленями, пытаясь вызвать в нем вожделение. Слово-то какое — вожделение! Рустам был импотентом. Так он им говорил. Однажды даже одна симпатичная дворничиха с крепким телом и налитыми как две дыни грудями принесла ему «лечебные травки», уверяя, что они, де, специально для таких как он. Повторила про их чудодейственные качества уже со злостью, натолкнувшись на невнятное бормотание в ответ на ее бойкое намерение прийти к нему в гости. Постепенно женщины оставили его в покое, дворник Рустам все больше казался странным и неприветливым, что действительно так и было.

Рустама же спасал только ее голос. Он это сразу понял, услышав ее, когда Нина пришла в контору, чтобы отдать ему электронную карту и код к ней. Он ведь работал за нее! У Расулова в это время начинало знакомо гудеть в голове. Дворник сидел на стуле в ожидании ее,

документов и окончательного устройства на работу в качестве «таджика». В связи с некоторыми обстоятельствами, прописки у него не было. Он начинал незаметно сжимать руками голову, массируя виски. Кровь начинала стучать под глазами. Начальник ЖЭКа отвернулся от него, отойдя как можно дальше. Он что-то начал говорить, когда дверь открылась и вошла незаметная женщина с бледным лицом. Тонкими пальцами она открыла сумку и достала оттуда документы.

— Вот, возьми, извини, я задержалась, позвонила мама, и пришлось с ней поговорить, — сказала она мужу. Это был ее муж, оказывается. Это стало понятно. Но это, естественно, Расулова не удивило, а удивило, что при звуках ее голоса боль шевельнулась и стала затихать. Как будто кто-то прохладной ладонью провел по его горячему лбу, запустил холодные пальцы в его горящие волосы. Божественный ветерок влетел в комнату и затих рядом с ней. Она невидяще посмотрела на нового дворника и ушла, мягко притворив за собой дверь. Получив карточку, Расулов пошел на участок. В этот день он не заметил никаких намеков на головные боли. Он как будто летал на крыльях, парил, отсутствовал, его не было на этой грешной земле, как будто Рустам встретил Бога.

Немного усилий потребовалось, чтобы узнать номер ее телефона. Чтобы ее не напугать, нужно было что-то придумать. В общем, он понимал, что поначалу начал ломать дрова, говорить ерунду какую-то про электронную карту, нес бред про дом. Хотя таджику это простительно. Она испугалась, потом удивилась, потом с недоверчивостью стала слушать эту галиматью. Впрочем, сразу стало понятно, что с электронной картой все в порядке, а он что-то путает по недомыслию.

На другой день он позвонил, извинился. Потом еще раз позвонил на следующий, но уже не извинялся, это было бы

лишнее, как он решил, и совсем бы испортило впечатление. Она спрашивала, точно ли он таджик, что было, конечно, не совсем так. Рустам был узбеком, но не имел документов. Он решил слиться с общей массой кочевого таджикского населения, дабы не вызывать лишних расспросов. Так легче затеряться.

Иногда Рустам говорил странные вещи, как будто знал ее прошлое и иногда такие мелочи, которые кроме Нины никто не мог знать. Он рассказывал что-то из ее жизни и даже, как он уверял, кое-что из ее предыдущих жизней, где она была птицей, девочкой из Поднебесной. Он просто это видел как картинки, слушая ее голос. Видел, как она жила в комнате, которую снимала, когда училась в институте, видел, как вечером бродила по чужому городу, совершенно одинокая, ни с кем не знакомая в нем.

— Да, так и было, Рустам, — соглашалась она, называя его именем, которое постепенно становилось все привычнее ее языку. — Я ходила по городку смотрела в освещенные окна людей на первом этаже. Там, казалось, была совсем другая жизнь, совсем не такая, как у меня, в доме одинокой глухой старухи, которая вечно бормотала что-то себе под нос и называла меня то Машей, то Ириной.

Нина сама однажды позвала погулять дворника по первому снегу. Рустам в этом не нуждался, но сразу согласился, так как боялся потерять ее голос, хотя ему не хотелось маячить с ней перед людьми, он любил маленькие смутные пространства, где в любой момент можно было лечь на диван и выпить водки. Ничего его не спасало, кроме нее. Спирт еще спасал. На наркотики денег не было, да и не хотелось изменять традициям, которые его вполне устраивали.

Они невольно настраивались на волну реки, подернутой льдом в начале зимы, под белым туманом с легкой синевой гор на противоположном берегу и рыжими осенними травами, только что покрывшимися снеговыми шап-



ками. Смотрели на следы собаки, пробежавшей краем шоссе по свежевыпавшему снегу, протоптавшей по нему дорожку из темных пятнышек от края дороги около остановки и убегающую на запад. Она ощущала его, идущего рядом, большей частью молчащего и улыбающегося, держащего иногда Нину за руку. Звезды так повернулись, что эти люди были по сути едва знакомы, им не о чем было порой говорить и замалчивать было нечего, поэтому было молчание легкое, почти пустое, наполненное воздухом, пахнущим снегом и влажным ветром.

Алкоголь был не нужен, когда он слышал ее голос или даже представлял ее голос. Казалось, что в ней кто-то сидит, кто так разговаривает, что ее голос — отдельно, а она сама — отдельно. Со всеми своими проблемами, ребенком, мужем, апатией и почти депрессией — отдельно от своего голоса.

— Я не люблю людей, — вдруг она сказала, сначала далеко отойдя от Рустама вперед, обернувшись к нему. — Кроме сына никого не люблю. Расулову было все равно. Он тоже никого не любил, а сына у него отобрали, и он не видел его уже пятнадцать лет. Откровения Нины не задевали Рустама, он оставался равнодушным, он ее не любил. Просто без нее жить было бы сложнее, и он привык к этому обстоятельству. Иногда он очень хотел ее увидеть, скучал по ее голосу, голосу сирены, оплакивающей утопленного ею моряка. Иногда ее голос звучал как стеклянный звон синички, и мужчина не понимал, что она говорит, но ему нравилась интонация, переливы звуков. Временами он слышал, что она говорит что-то совсем сумасшедшее про инопланетян, про Бога, про какие-то фильмы, которые смотрит днями и ночами напролет и почти ничего из них не помнит.

Его стали утомлять прогулки, тем более, что все становилось холоднее и холоднее и начали возникать желания.

Сначала ведь хочется слушать голос, потом подойти поближе, потом взять за руку, прикоснуться к щеке, потрогать волосы, поцеловать, обнять, потом постель, потом... А дальше нет ничего, если с самого начала больше ничего не было. Рустам не хотел начинать эту бессмысленную и потом чреватую цепочку и к себе ее не приглашал, ведь на самом деле не был никаким импотентом, если уж говорить начистоту. Он не был таджиком, не был импотентом, не был мужчиной, как ему запальчиво заявляла его бывшая жена.

— А иногда я полуночицаю, слушаю музыку, читаю слова, слова, слова... Вот как этой ночью. А сегодня как будто этой ночи и не было. Как будто не было ничего сказано, напето, высмотрено. Вот как бывает, что-то отложилось где-то на чердаке, утрамбовалось там и внезапно вдруг протянется ниточкой, вылезет тряпочкой, выпорхнет мотыльком, поползет змеей... Рустам, слышишь? Помолиться бы и уснуть как полагается, спать и видеть душеспасительные сны. Так нет ведь, — и сны будут всегда бестолковыми, черт знает о чем, о малости, о людях умерших даже... Вот, съела ночью колбасу, сыр, булку, потом кефир, а спать не хотела все равно. Муж уже давно спит, все спят, и ты спал, наверное, а я бодрствую незнамо зачем...

Так прошло два месяца. Рустам звонил всякий раз, как только чувствовал приближение припадка, и его жизнь оказалась постепенно в ее руках.

Перестала смотреть сериалы и Нина, она ждала звонков дворника. Он иногда пел ей в трубку песни своей узбекской родины, которые пелись почему-то порой на английском языке. Так тебе будет понятнее, пояснял он, но ей становилось совершенно уже ничего непонятно, кроме того, что есть какой-то камышовый народ, который молится камышовому коту, и если кот разозлится, то все придет в неравновесие и кончится плохо, поэтому надо ему молиться

и приносить жертвы. Иногда кот отравляет воздух зловонным дыханием, и тогда все окна и форточки необходимо закрыть и сидеть дома, нельзя гулять, можно только молчать и слушать. Нина тоже пела в свой черед песни, колыбельные песни, которые помнила, которые пела своему мальчику, маленькому мальчику, теперь уже ставшему мужчиной. Но был ли мальчик? Была ли она?

— Нина, Нина, ну, что ты ничем не можешь заняться, пойди поработай, как это делают все, — говорил ей с укоризной муж, залегая на диван с газетой.

— Я вот вчера подумала, если бы мы дожили до коммунизма, как обещалось когда-то давно, и сегодня бы был реализован принцип: каждому — по потребностям и от каждого — по способностям, то что бы делали мои знакомые и я сама лично, чем бы занялись? Большинство плюнуло бы на свою работу, которая кажется многим престижной, потому что высокооплачиваема, я уже не говорю про работу, которая оплачивается условно. Едва пара-тройка человек осталась бы на прежних местах, те, которые на самом деле любят ее не за деньги, а по призванию.

— Может быть, я организовала бы огромный выставочный зал, где бы показывала работы нравящихся мне художников, там бы проводила вечера поэтов и прозаиков, ну, фильмы, конечно бы, крутили какие интересные. Сама бы стала снимать кино про воздух, снег, дождь... Вот, наверное, и все, самое основное. А, может, научилась бы летать на дельтаплане. Но самое главное, любила бы больше людей, чем получается сейчас.

Муж с изумлением выслушал этот монолог, покачав головой, — безнадежно.

Так шли дни, но большую часть времени ничего не происходило.

А, может, не было и никакого дворника Рустама, а был он плодом ее воображения, фантомом — так ей стало ка-

заться. При этой мысли ей становилось страшно и хотелось поделиться с мужем, но зная его характер, она понимала, что кроме того, как обратиться к врачу, он ничего бы не посоветовал. Или того хуже, уволил бы с работы плод ее фантазии, а это было бы из рук вон плохо.

Февральские дни связаны с днем вещуньи Анны, который был в августе, но какого числа, запомнила, — заметила Нина, посмотрев на календарь. Холоден и тих — был ли тот августовский день таким? Этот февральский день, такой холодный и тихий, говоривший об эмоционально насыщенных событиях с прохладой и отстраненно, и вот это противоречие... — подумала она о Рустаме. Никогда так не думала. Наверное, просто не удастся что-то донести словами. Но когда я встречаю порой такое же — холодное и тихое, то резонанс, пробудившийся в душе, раскачивает мои эмоции до маленькой бури.

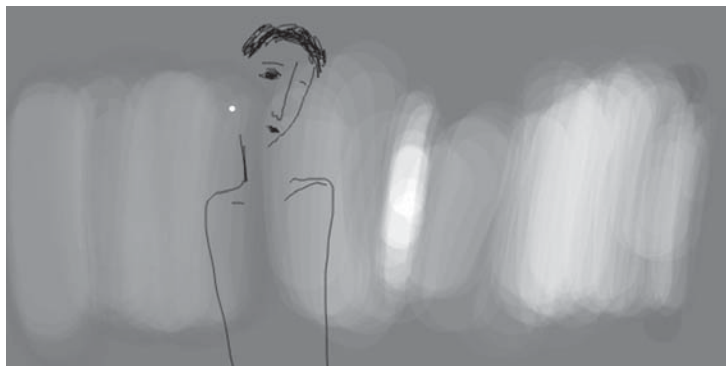
Постепенно они просто начали молчать по телефону. Когда молчишь, то молчание облаком повисает вокруг, над головой, рядом... Много, много воздуха, в котором туманом расползаются неоформленные мысли и чувства. А иногда и попросту нет ни мыслей, ни чувств, только предметы и между ними — воздух. Когда говоришь первое попавшееся слово (так иногда и бывает, скажешь, что первое вспомнится), то пустота начинает определяться с направлением. К первому слову цепляется второе, третье... и вот уже цепочка или тяжелая цепь слов повисла вокруг человека. Или ленточка шелковая, или цветы незабудки букетиками расставились по столу, или духами Шанель номер пять запахло... А на самом деле ничего-то не изменилось — облако воздуха висит вокруг. Облако неизвестности.

— Пойдем со мной, — сказал Рустам ранним весенним утром, в марте, когда снег еще лежал на улицах, и дворники последними усилиями сдирали его с асфальта.

Поедем со мной, точнее, — повторил он, — Я уезжаю, но без тебя не могу.

Она испугалась: это просто невозможно, это сделать немислимо. То есть какие-то попытки, конечно, вероятны, попытки совершить то, что есть или то, что должно быть, точнее, то, что может быть еще кроме того, что уже есть. Но стена невозможности неизбежно вырастает и проявляется, — ледяная стена, холодная. Можно оттаивать годами дырочку в ней, дышать как на замороженное стекло, пальцами нажимать на ледяную поверхность, вымораживая живую плоть. Вечность непобедима и данность непреодолима. Хотя попытки, конечно, прекрасны в своей безнадежности.

К таким монологам Рустам привык, он втайне не верил, что она согласится. Но это уже было не страшно, ее голос жил в нем, спасал его и вел к другой жизни. Глядя из окна на некоторых смелых прохожих, идущих в легких летних куртках и футболках, ему захотелось все бросить и кинуться на велосипеде или поехать на поезде куда-нибудь по бесконечным путям далеко-далеко... Снег еще лежал серыми кучами под окнами на северной стороне, но он уже как будто не считался, его как будто не было. Хотелось все зимнее, темное, прошлое оставить как жаркую и душную одежду в шкафу, и в майке и шортах отправиться по широкой дороге навстречу новому и светлому или темному. То легкое, теплое, что обтекает тело, мягко или бурно касается его ветром, облегает шелком, ласкает песком — это и казалось ему сейчас жизнью, и она начиналась где-то в другом месте...



## *Modus Vivendi*

Когда все было порушено, не оставлено кочки на кочке, взрыхлено до небес и разровнено, то что же осталось? Фрагменты корней и семена стали проращать, и вырастали те же самые деревья, те же самые травы, и так же пришлось их поливать и окучивать, и зрели плоды знакомые, те же самые.

Мы пойдем другим путем, — сказали генные инженеры и начали ковыряться в хромосомах, komponуя их кусочки на свой вкус и цвет. И тогда стали появляться невиданные существа... Некоторые из них не выдержали суровых зим и вымерли, другие распались из-за собственных внутренних противоречий, а были и такие, что выжили...

Наверное, я вот такая, выжившая. И еще есть несколько таких. Мы живем в большом доме, заняв его почти

незаконно, и почти никто не в курсе, кто мы, чем занимаемся. Есть только туманная вывеска на дверях «Мастерские художников». Среди нас, действительно, есть художники. И даже я считаюсь условно художником, хотя я ничего не рисую, кроме как пальцем по оконному стеклу, когда оно покрывается влажностью от разности температур. Как мы все сюда попали долго рассказывать — разные истории, но главное, что всех объединяет это поломка хромосом, принципиальная неписываемость в человеческое собрание. И, как и раньше, люди бежали в скиты, монастыри, сквоты или просто в лес, так и мы очутились здесь в силу разных внешних обстоятельств. Почему ты здесь, спрашивает меня мой бывший муж, бизнесмен и человек состоявшийся. Он со мной прожил три года и между тем этого не понимает.

Мастер Экхарт дает интересное определение в своих «Проповедях»: «Совершенство заключается в том, чтобы всякое бедствие, нищету, страдание, злосчастье и позор, всей тяжестью свалившиеся на тебя, переносить добровольно, радостно, свободно, как желанное, сознательно и спокойно и так оставаться до смерти без всякого «почему».

То есть всякое сопротивление, получается, создавшейся ситуации Экхарт отвергает как несовершенное. Мне, как ленивому человеку («вода» склонна к лени, сказал мне бывший муж, что-то там увидев по тв и соотнеся новые знания с моим знаком стихии), это высказывание близко. Заметила, сколь ни борись с другими, а они все такими же и остаются, как есть. Обтечь их и утечь. Вот дочка мачехи в «Морозке» возмутилась, проявив себя, гм, революционеркой: не нравится, де, ей здесь, холодно и плохо! — и что? Замерзла в лесу. А Настенька согласно помурлыкала, несмотря на жуткий холод, что, мол, тепло ей, хорошо, и получила золото и бриллианты, — выходит, по-христиански поступила, в полном соответствии с изречением Мастера Экхарта. Не передельвать, призывает немецкий средневековый мистик, а ра-

доваться любой пакости, приключившейся с вами. Это, надо учесть, идет вразрез с современной психологией, которая предлагает все же улучшать ситуацию, спастись и преобразовать мир вокруг себя. Позиция же «все равно, все равно, что малина, что г...о» не устраивает большинство людей. Рвутся (или изящно вырывают) к почестям, званиям, деньгам, любви или просто к сексу... Даже если на словах это отрицают.

Честно говоря, больше всего в этом высказывании немецкого мистика меня удивило, что не надо пытаться понять: почему, за что, доколе? Я так понимаю, что все равно не сообразишь, что к чему, а только тщеславно потетишь свой ум, решив, что догадался, отчего и зачем, понял смысл страданий и прочее. Ха-ха, говорит нам Мастер Экхарт. А ведь почему бы и не подумать, если хочется? Подумать-то можно, только толку от этого никакого, предупреждает нас он.

— Не надо все же забывать, что это христианское мировосприятие, бывают и другие... Но для нас оно архиважно, ибо живем мы в христианском мире, — строго говорит наш председатель Валентин.

Сказал он эти слова за столом, в темной, неосвещенной комнате. В это время дети возбужденно бегали в темноте с фонариками в руках. Неожиданный конец света, когда отрубилось электричество в мастерской и по округе, застал их врасплох. Взрослое население спокойно сумерничало и вспоминало, как в детстве отключалось порой электричество, и на следующий день в школе можно было со спокойной совестью провозгласить, что света вечером не было и домашнее задание поэтому сделать не успели. Современные детишки заявили на наше требование успокоиться и перестать с визгом носиться и искать фонарики, свечи, керосиновые лампы, что мы привыкли жить в темноте, а они — нет!

Обычный народ, который живет вокруг нашего дома, по рассказам очевидцев, оторвавшись от телевизоров и ком-



пьютеров, потянулся к огням местного магазинчика, где свет не был отключен. Там началась тусовка, распитие пива, завязывались знакомства...

Мы, уже привыкшие жить виртуальным общением, так как все в основном одинокие, нелюдимые, так же собравшись в одной комнате, разговаривали. Воображали, а как вот совсем лишимся электричества, засыплет нас снегом, связи с миром не будет, запасов провианта нет... Сколько продержимся? Продержимся, — заявил председатель, — у нас есть ремни! Их можно варить и жевать. Слава хитро намекнул, что его пищеблок не так уж и мал, как может некоторым показаться. А у меня есть пачка спагетти, подытожила я. Мы задумались...

Слова создают иллюзию сложности... Особенно в отношениях. А ведь стоит только чуть внимательнее посмотреть на людей и видно, что и как их соединяет. Вызывание словесных кружев, конечно, будоражит воображение и фантазию. Но вот замолк последний звук, повисла тишина... и становится заметно, есть что-то, на самом деле, или нет. В молчании и редких словечках видно то простое, что пытаются порой в длинных словесных периодах объяснить самому себе, внушить собеседнику, втянув его в водоворот собственных мыслей. И вот водоворот иссяк, выдохся... и что? Тело выброшено на берег и чувствует только песок под собой, понимает, что сказанное было ложью, не сознательной, конечно, в большей степени, а просто бесконечной словесной конструкцией, где одно слово по правилам языка вызывает к жизни второе, а второе — третье... И как конструкция она может быть красивой, изящной и гармоничной, но к общей реальности (правде-истине?) она часто не имеет никакого отношения.

В мире слов живет человек, особенно образованный, культурный, начитанный... Как гипноз они на него действуют, как наркотик, дабы уйти от действительности, сбежать,

«хлороформировать свое сознание»... А куда от нее сбежишь? Замолчал, наконец, пришла ночь и некому трындеть о своем величии и величии своего понимания мира, ученость свою показывать — и вот она, реальность, подступает к горлу... к нежному горлу тонкими ручками с сильными пальцами.

Когда слова льются бесконечным потоком, я вижу как будто со стороны машущих руками людей или слегка жестикулирующих, пытающихся вложить в эти звуки нечто, что подвигнет другого покориться его воле, поверить в ту чушь, что он несет, Гитлера вспоминаю... Хочется отойти и пусть звон этих речей повиснет комариным звоном в ушах...

Забыла написать, что живем мы все на окраине маленького провинциального городка С. И если не ходить по шумному центру, то в С. удивительная тишина. Благодаря немногочисленному транспорту в домах и на улице тихо. Это почти безмолвие завораживает, гипнотизирует. Наверное, этого мне постоянно хочется, этого не хватало в Т., откуда я уехала, где шум машин и часто громкая музыка достают в любом месте, за исключением берега реки. Только ведь в тишине можно по-настоящему успокоиться, отбросить все мысли, которые мучат и тревожат. И тогда изнутри, из глубины вырастает состояние спокойной радости существования. Надоело говорить некоторым в окружении: не усугубляйте! Собственно, как мне давно казалось, люди сами портят и ухудшают себе и другим жизнь излишними звуками: криками, воплями, истериками, громкой музыкой, агрессивными попытки переделать все и всех под себя...

В жизни уже есть все, что приводит к глубокому удовлетворению просто от факта существования, что заслоняется излишней суетой, старанием повысить статус, ухватить что-то, что сделает счастливым. Мне кажется, что дело не в том, что должно быть что-то свыше, а в том, чтобы убрать то, что мешает.

Это, наверное, фундаментальное требование, но первое и самое главное. Только когда успокоишься, тогда можно подумать: а что дальше, что еще? Ибо состояние истеричности показывает, что внутри что-то нездорово и это состояние правдиво только синоминутно, оно говорит, что неладно что-то в датском королевстве и прежде чем что-то делать, надо все отложить.

— Попеть, потанцевать тоже не грех, — качает головой председатель, выслушивая мои речи. Он хоть и христианин и ходит в церковь, а позволяет себе и на шумный концерт прогуляться, и водочки там выпить, и порой матерится...

На днях по просьбе председателя, который сам не мог — он выкармливал четверых детей от разных жен, сбежавших от него — ходила за талончиком в поликлинику. Встала в пять утра и отправилась в путь... Народ уже кучковался у дверей, и я была пятая (к слову, талончика мне не досталось, так как их было всего два и их получили первый и второй человек, но речь не об этом). Я уселась на каменный выступ и открыла ноутбук, и два часа в ожидании открытия регистратуры смотрела фильм, длинный, непонятный, сюжет которого я никак не могла уловить. А в это время народ скапливался, занимая очередь.

Одна из старушек была особенно сгорбленная, старая и едва живая. Она плакала, открываясь сердобольной женщине: «Каждый день молюсь, чтобы Господь послал мне смерть...». Мне стало невыразимо жаль ее, по-видимому, одинокую, которой никто не поможет взять с утра номерок, постоять в очереди. Я-то вот для председателя стою, может и он (гм-гм...) для меня когда-нибудь постоит-потрудится, поможет гвоздь прибить в стену, а она — одна... Тогда почему она идет в больницу, если ей кажется смерть привлекательной, а жизнь — постылой? Наверное, все же это минуты (часы, дни...) слабости, когда теряется последняя надежда и, может, только религиозная вера некоторых удер-

живает от суицида. Меня всегда удерживала в такие минуты и часы животная воля к жизни, хотя готовность к смерти как будто спокойно крепнет со временем.

Поэтому не хочется заниматься ничем, что не приносило бы покой и радость, что ввергало бы в пустую суету и ухудшало настроение, что уменьшало бы количество любви в жизни. Про качество я уже скромно промолчу — кто его определит? Кому-то нужна любовь исключительно большая и светлая, а по мне так и маленькая и темная — священна. Или, скажем так, даже маленькая и темная на самом деле большая и светлая. Всякий проблеск сострадания, сочувствия, внимания, нежности, мягкости — драгоценен.

Та женщина, которая утешала старушку, заботливо посадив ее на стул, похоже, достигла своей цели, хотя и не было там никакой цели, кроме того, что пожалеть. Сказать доброе слово, и вот несчастная слегка приободрилась, слезы ее высохли, и она с готовностью встала в свое время в очередь... Вот только достался ей талончик или нет, я так и не узнала.

Вот так и живем все вместе и по отдельности, иногда совсем не видя друг друга неделями, а иногда собираемся в выставочном зале, картины вывешиваем или музыку слушаем, которую сами же и сочиняем. Хорош или плох такой образ жизни, не знаю, но предположу, что поломанные неизвестным Генетиком хромосомы мне не дают шанса вести какую-либо другую. И с утверждением, что мало в такой жизни радости, удовольствий или чего-то такого, что будоражит людей, создает иллюзию счастья или просто счастье, я не соглашусь.

Мне нравятся вспышки на Солнце и темные пятна магнитных полей. Мне близки закаты в дальнем лесу, среди сгоревших деревьев, на свету их ветви прозрачны. Золотистая кожа ребенка. Худые руки, обнимающие шерстяного кота. Восточный разрез глаз и светлые европейские воло-

сы. Уклончивость. Метис, мулат, квартерон. Шелковистый рис, в который погружаешь пальцы, потом в нем утопает вся кисть руки. Ночные часы, когда тихо, и слышны только цикады за окном и шум машин. Дожди продолжительные и кратковременные, капли воды, стекающие по стеклу. Стук закрывшейся двери. Звон металлической ложечки в стакане. Вкус арабики со сливками. Блеск смуглой кожи, напитавшейся маслом розового дерева. Завывание зимнего ветра за окном. Последнее небо и последнее солнце...

— Пути принадлежат наполовину людям, наполовину — теням, — читаю я вслух средневековую китайскую новеллу.

— Поэтому наш путь лежит во мраке, — комментирует Валентин. Не пойму, почему это «поэтому», но молчу, потому что председатель начинает читать свой собственный стих:

Войди в мою реку...

Пройдись босиком по набегающей волне,  
по мокрому песку,

Посмотри вдаль на гладь воды,  
на ее синий цвет днем и жемчужный — вечером.

Жизнь бесконечна, если забыть про начало и конец,

Вчера и завтра, утро и вечер...

Привкус печали есть во всем —

В радости, любви и забвении,

И этот привкус не горек.

Возьми в руки блестящий камешек, мокрый и темный,

Он сохнет в руке, тускнеет,

Но опусти его в воду,

И он снова проявит свой глубокий и насыщенный цвет.

Я подарю тебе кольцо с александритом,

Неуловимо меняющим цвет при разном освещении, —

От розового до голубого.

Какой же его цвет — настоящий?

Я улыбаюсь:

— Валя, ты написал как женщина.

— А я и есть в каком-то смысле женщина, — уклончиво отвечает Валентин, и что он имеет в виду, например, что в каждом из нас есть мужское и женское или что-то другое, я не знаю.

— Куда отсюда я уйду, — говорит батюшка в глухом селе А., куда мы недавно ездили с председателем по делам. Да, собственно, какие дела — искали прялки и всякие деревенские предметы, чтобы продать их в музей. В этом селе зимой, бывает, всего человек пять живут в полной изоляции от цивилизации.

— Здесь рай земной, — тихо молвит он. Батюшка выкопал около дома глубокий колодец, посадил цветы и любит закатами над древней российской землей.

Летом, там, конечно, полно дачников, и социальная жизнь налаживается, и все начинает выглядеть вполне современно, но мне кажется, что ветры, веющие над этим местом, затопленные миллионы лет назад первобытным морем, до сих пор солоны, до сих пор в их шуме слышны звуки прибоя и шепот моря.

Мы живем с ним в одном мире, художники из мастерских, и батюшка в своем стареньком храме.

— Весной сюда приезжайте, — приглашает отец Илларион, — в мае. В мае природа — невеста, возродившаяся к жизни. Восставшая из мертвых, поднявшаяся из хрустального гроба зимы. Спадают истлевшие одежды, а посеревшая кожа сползает кусками и снова сияет нежностью. Это все до мая пятнадцатого, а в этот день — девушка пятнадцати лет под прозрачной фатой идет по зеленому полю молодой травы, и фата летит по ветру.

— Ну и ну, — удивляется председатель, он и сам такой, но от батюшки не ожидал. Мы садимся в местный автобус и молча едем до города, каждый погруженный в свое.

И увидела я сон после встречи с отцом Илларионом: бегу по С. в шортах и шелковой блузке, вымокшей от пота, несколько остановок, от базара до пожарной каланчи. Куда и зачем бегу, непонятно, но бежалось свободно, с чувством приятного преодоления сопротивления тела. Бывший муж, но во сне он еще не был бывшим мужем, а как будто будущим, кричит мне что-то ироничное и понятно, что он заинтересовался. Я пробегаю мимо, ибо такого стиля общения не люблю в больших количествах. А раз с этого начинается знакомство, значит, случай безнадежный. И бегу я дальше...



## Преследование

Преследование в... да какая разница, где. Она не помнит себя, не знает, чего хочет и чего желает. Она выходит на улицу и идет за первым встречным, зацепившим ее хоть чем-нибудь. Идет до тех пор, пока не потеряет из виду. Мужчина в черном пальто скрылся в подъезде. Женщина с замороженным лицом села в автобус и уехала. Юноша с прямыми низкими бровями встретил девушку, и они вместе, приобнявшись, ушли. Когда подходит кто-то второй, преследование становится невозможным, бессмысленным. Она судорожно вспоминает, чего она хотела от них ото всех... Точнее, не от них, а от себя самой, от того, что скрыто в ее глубине, и что эти люди ей напоминали. Каждый из них казался черным ящиком, в котором происходит тайная, для всех закрытая жизнь. Они могут разговаривать с родными, близкими, знакомыми, и тогда они преображаются, они оживляются, убеждают своих собеседников, смеются, иногда даже



плачут... Но вот какие они на самом деле, видит только она. Когда человек один и думает, что никто за ним не наблюдает (а кто его может заметить на улице большого города, в толпе?) он становится самим собой: редко у кого блуждает на губах улыбка, она сползает с лица, которое становится отрешенным, как будто человек впал в сонный транс, угрюмый или непроницаемый.

В ней потерян смысл собственной жизни, он утрачен, попросту улетучился. Своей жизни нет, хотя осталась оболочка, осталось то, что внешне живет, разговаривает, двигается, спит, ест, читает, работает... А ее нет. Где же она, как она смогла так потеряться? Она не понимает себя, не чувствует своих эмоций, нет своих мыслей, не помнит, кем она была когда-то еще не так давно. И когда она потеряла себя, она тоже не помнит. Она как будто стерлась, как будто пыльца на крыльях бабочки осыпалась, как будто в холодном зимнем небе пролетели птицы, и вот их уже нет... Сон порой кажется более реальным, чем ее жизнь.

Женщина всматривается в лица прохожих — не мелькнет ли что-то в их фигуре, выражении лица, в какой-то незначительной черточке такое, что ей напомнит ее саму. Но не надо разговаривать и входить в контакт — люди сразу меняются: улыбаются или наоборот хмурятся. И она забывает, что же было в их лицах такого значительного и на грани разгадки, раскрытия. Почему-то нужно было искать их всех на улице, живых, незнакомых. Да, именно незнакомых. Она успевает за несколько минут привыкнуть к человеку и провожает его долгим взглядом.

— Я сошла с ума, — говорила она себе, — но кому от этого плохо, что я ищу себя в других?

Однажды к ней привязалась собака, которая сопровождала ее весь вечер.

— Я не могу тебя взять домой, — с сожалением сказала она собаке, которая умным взглядом одобряла все ее

действия, труся рядом, чуть забегая вперед или отставая на минуту.

— Жизнь трагична, — обращаясь к животному, продолжила она негромко, стараясь не привлекать внимания прохожих, — но я не ожидала, что настолько, я не думала, что потеряю себя, а это случилось. Вот ты тоже потерялась, и кто-то тебя ищет, возможно, или не ищет. Но должен же нас кто-то искать, черт возьми, должен же кто-то помнить, кто мы есть на самом деле!

И вдруг сникает:

— Или нет никого...

— Да, конечно, нет никого, — отвечает ей собака. Она вздрагивает и с испугом смотрит на животное, а ее плеча осторожно касается рукой замызганный гражданин. Это он, улыбаясь беззубым ртом, смотрит ей в глаза и заботливо стряхивает невидимые пылинки с ее пальто.

— А меня тоже нет, — продолжает бродяга. Вот кажется, что я, такой подозрительный, грязный, старый, да-да, старый, мне сорок лет, стою здесь рядом с красивой, молодой дамой, не спорьте — красивой и молодой! Вроде стою, вроде человек и даже мужчина в полном расцвете сил. Но меня нет! Пусто внутри, совсем пусто и, заметьте, меня это совсем не огорчает.

Она отпрянула и хотела было совсем уйти с этого рокового перекрестка, на котором они остановились, где справа и слева машины, а впереди — пешеходная дорожка. Но мужчина перегородил ей дорогу. Он подошел еще ближе и, встав напротив, продолжил свой монолог:

— Кстати, вы не чувствуете пустоту в желудке? Могу угостить, у меня есть наличность. Он засунул руку в карман брюк и побултыхал ею в недрах, в кармане раздался звон мелочи.

— Могу и алкоголем угостить, не хочу вас пугать, но хочу показаться культурным человеком, — у нас ведь, вы в

курсе, алкогольная культура. То есть я хотел что сказать, кто ее создавал, сплошь алкоголики: Есенин, Высоцкий, драматург Володин, поэт-почвенник Кузнецов, Олег Даль, только вот Пелевин, краса и гордость нашей литературы не пьет и не курит, но любим народом, ибо попал в алкогольную жилу — манера у него алкогольная. Нет, нет, что вы, я сам не пьющий, но алкоголиков уважаю. Точнее, людей пьющих, пьяниц, в некотором роде. А алкоголик, надо извиниться, это все же тот, кто все пропил, как вот, к примеру, алкоголик Чуланин — не работает, живет на пенсию старухи-матери, в жизни ничего не создал, ни строчки не написал, ни лопатой не ковырял, ни... Да, ладно, Бог с ними. Вот с вами что делать, голубушка?

Он легонько за руку увлек ее в столовую, именно в столовую, а не в кафе или ресторан. Незнакомый заказал две тарелки солянки и сырники со сметаной. Она украдкой рассматривала своего неожиданного собеседника. Прорванный рукав, грязного цвета шарф, тельняшка, выглядывающая из-под черной куртки. Но движения мужчины были изысканны. Он артистично подал ей тарелку, ложку и хлеб, поклонился и сел за стол.

— Немного роскоши не помешает, — добавил, придвинув поближе букетик сухоцветов, стоявший на столе.

Женщина молчала, предоставив слово новому знакомому. Он задумался на минуту и произнес:

— Вот вы думаете между тем себе: где я, что я, какая я на самом деле, не все ли, что я знаю, это чужие слова и мнения? Не спорьте, голубушка, да, так вы и думаете. И что? А вы правы. Книг-то, наверное, прочли немало? И такая ведь это сладость — книги! И вот, представьте себе, и я тоже поклонник книг и если зайдете в мою берлогу, то увидите, что они падают огромным потоком с полок, из них сыплются слова, валятся кучей у дверей и их выметают веником через порог. Их много еще осталось, лежащих у окна за шторой, и

ветер раздувает их по комнате — слова, слова, слова... Как осенние листья, они с шорохом разлетаются вдоль стен, застревают за батареей и за шкафом. Пусть лежат, такие разные, вырезанные маникюрными ножницами из глянцевой бумаги. Специально сказал для вас — маникюрными! Вы мне такой изящной кажетесь. А когда слова засохнут, скукожатся, мы откроем новые книги и новые свежие слова обрушатся на наши головы... Нет, не хотите новых слов?

— Ну, и правильно, красивые они, конечно, слова-то, да не наши, чужие. Ладно, дорогая моя, вот вы и стали мне дорогой, не сопротивляйтесь, я ни на чем не настаиваю, мало ли кому вы дороги, вот мне, например, так я же ничего и не требую. Признаюсь, параноидальная шизофрения, непрерывный внутренний диалог и стойкое ощущение иллюзорности мира, но благодаря хм... одному веществу, я даже иногда получаю удовольствие от этого состояния. Ну, ну, не надо бояться, я совсем не агрессивный, — заметил он тревожное движение женщины, встерпенувшейся и почти готовой встать из-за стола. Он мягко положил свою ладонь, кстати, ухоженную, с ровными чистыми пальцами и даже как будто обработанными пилкой ногтями, на ее руку.

— Я пошутил, шизофрении нет, тем более параноидальной, лсд не потребляю, а вот все остальное знакомо, причем, удовольствие испытываю тоже, вперемешку с неудовольствием. И радость испытываю, и печаль, и нежность, и тоску, и злость, и умиротворенность... Вот сейчас — умиротворенность, с вами, здесь, в этой пошлой столовой, с омерзительными голубыми стенами, испоганенными вот этими банальными репродукциями и... да, да, родная, я художник. Был художником, точнее, врать не стану.

— Все, все, успокойтесь, — мужчина отодвинулся и жестом пригласил выпить чай.

— Зеленый чай, придуманный китайцами... Сижу за компьютером, — а что вы удивляетесь? Есть у меня и ком-

пьютер, — и пью его, с мятой, утренний, горячий. Вспоминаю правила приличного китайского сына — поить своих престарелых родителей чаем, сколько их душа пожелает. Вот ведь как просто — поить чаем... Ну, еще, кажется, вести себя согласно конфуцианскому этикету. То, чего я терпеть не мог в молодости — церемонии и этикет, предпочитая непосредственную, прямую реакцию. Но постепенно открыл, что с годами презренные условности становятся все более ценными. Кому мы нужны со своей искренностью и открытостью? — разве что самым близким друзьям, а все прочие ждут другого. Вот вы же мой близкий друг, не так ли, — вот и слушайте.

— Вот и родители — любишь их, не любишь, а просто напой хотя бы чаем и повежливее формулируй мысли и все будет в порядке. Пою себя чаем, мой внутренний ребенок, как бы сказал какой-нибудь звурядный психолог, поит моего внутреннего родителя чаем. Пей, родной, чая много, слава богу, на весь день хватит, а если не хватит, то в магазин схожу. Пей, милый, жаль, шоколада нет, но требования такого не было, чтобы к чаю обязательно еще и шоколад прилагался. Ну, ладно, куплю уж, если так душа просит. Ну, это я так сам себе говорю, когда становлюсь сентиментальным и некому меня пожалеть. Водку-то я не пью. Кстати, Вы еще не задались вопросом, отчего я ее не пью, родимую, уж не закодированный ли?

Она просто слушала, развесив уши, ну, нет, конечно, это выражение не подходит ни ей, ни даже этому забулдыге, бывшему художнику. Они прекрасны, два совершенно пустых человека, утративших себя. Они просто в транс от того, что по сути сказать нечего, но слова льются, льются, льются, как что-то последнее, что их связывает с этим миром.

— Если с первого мгновения наш танец-разговор не превратился в обоюдно страстную, эротическую игру и любовную прелюдию, то я не знаю, что еще можно тогда на-

звать эротической игрой и любовной прелюдией, — заметил он, рассматривая свои пальцы и шевеля ими, как если бы пианист разминал их перед игрой.

— Разве твоя земная страсть не есть единственный источник твоего высокого вдохновения? Вот это определение, что это — любовь или нет, можно проверить таким сравнением, а что тогда еще? И почему бы и нет, даже если кому-то это не нравится. И так можно сказать почти обо всем.

Вот в этот момент ей стало снова не по себе. Она с усилием разомкнула уста и ответила, что нет, она не чувствует никакой страсти и что ей пора домой, там ждут дети, две кошки, старенькая мама.

— Как мне надоели свои же умствования! Хочу расслабиться, качаться на качелях, как Мандельштам среди елей, не думать ни о чем, только детские мысли лелеять и прочее. Думаете, пишете, размышлялки всякие сочиняете, а мне нужно свалиться, упасть, съесть мороженое, понюхать цветочек... Нет, надо писать, размышлять, анализировать, включать мозг, вносить порядок и создавать определенную композицию в этом царстве хаоса, где ни руля и ни ветрил, сплошь относительность и безалаберность! — заговорил мужчина, отвернувшись от нее. В его голосе появились нервные нотки.

— Глаза болят... да и уши тоже... господи, ну сколько можно! Смотрю, смотрю и что вижу? Да ничего, — лишь смутное пятно лица: глаза, уши, рот — все на месте, все как у всех, и слышу — шум, просто шум, хотя вы говорите, что он что-то значит, да, цвет — красный и это, может, совсем ничего не обозначает, — так, просто интерпретация тебя или меня, или его, и что?

— Хорошо, посмотрим, как вы боретесь, конфликтуете и пытаетесь найти общий язык, точки соприкосновения, как-то ужиться вместе. Превратитесь ли вы в компанию рака, лебедя и щуки или все же что-то перевесит, и телега все же

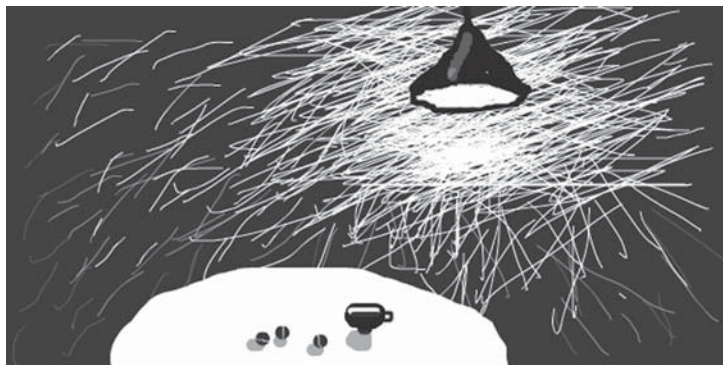
сдвинется с места. Но мне все равно, я не вовлечен, — интересно только с точки зрения ученого наблюдателя.

Женщина осторожно поднялась со стула и тихо, стараясь не стучать каблуками, направилась к выходу. Незнакомец продолжал смотреть в окно, углубившись будто в мелькание снежинок на стеклом.

Когда она уже закрывала дверь, он резко обернулся и крикнул вслед:

— Поймите, я просто не дал себе воли, помните, как у Бунина: «не дал себе воли». Не свободные мы все, вот. Есть, значит, что-то внутри еще.

Она побежала вдоль улице до остановки. Села на автобус и доехала до мужского монастыря, где любила гулять в одиночестве. Прогуливаясь по берегу реки, поднимаясь лесной тропинкой вверх по склону, она услышала звон монастырских колоколов. Когда она их слышала, то впадала в трансное состояние, что случилось и сейчас. Покой, вот что снисходило в ее душу в такие мгновения и длилось неопределенно растяжимое время после. Вспомнив строчки Пушкина, ей пришло на ум, что воли-то сейчас нет, и нет неволи, нет счастья и несчастья нет, нет никаких желаний, никакого беспокойства, связанного с ними. Нет ее, она растворилась в дрожащем колокольном звоне, повисшем в этом спокойном безветренном воздухе, в зеленоватых осинках, в двух розовых облачках, что запутались в их ветвях, в синих, коротко подстриженных горах, в темно-бутылочного цвета речном льду... Ее не стало, и это невесомое состояние своего отсутствия в мире все еще не уходило долго-долго... И ее это больше не тревожило.



*Красота предметов.  
Простые вещи*

Я не хочу касаться души другого человека. Она хороша со стороны, когда кажется такой целостной, такой слаженной. Я останавливаю себя, когда следы в виде поступков и слов сами ведут к ее сердцевине. Не поддаюсь и не следую этим знакам, не иду им вслед. Особенно, если человек кажется мне красивым, а его душа загадочной и непостижимой в своей полноте.

Безопаснее в этом смысле предметы. Сделанные руками этих людей, которые нервно живут, потеют, плачут, болеют, вредничают, изнемогают, кричат, ругаются, терпят, путаются в показаниях, раздваиваются, — предметы, на удивление, прочны и надежны в своей неизменности. Они содержат в себе лишь то, чем их я награждаю. Они, спокойные и неподвижные, словно сфинксы, стоят, лежат, иногда плавают. В их кажущейся застылости нет ничего неестествен-



ного. Они всегда покоятся, даже если движутся. Они статичны вне зависимости от набранной ими скорости. Их не раздражают противоречивые чувства, которые охватывают меня тем больше, чем дальше я проникаю, как мне кажется, в душу человека.

Вчера, сидя в маршрутке, я видела одного человека. Форма его головы, удлинённая и украшенная бородкой в виде заостренного конуса, казалось, не принадлежала его же телу, короткому и крепко сбитому, одетому в зимний чёрный пуховик. Толстые пальцы, которые могли бы быть у строителя, контрастировали со взглядом — тонким и внимательным, как у монаха. Худые щеки анахорета противоречили толстым ногам, обернутым в темные, грубые рыночные брюки. Его части тела были сработаны как бы разными скульпторами. И, если вникать в эти особенности, даже не услышав ни слова от него, не увидев ни единого его поступка, можно предположить, что натура его мечется от крайности к крайности, мучительна в своей расколотости, способной заразить меня тем же самым. Так зачем же вглядываться, вчитываться в сигналы, идущие от нее? Лучше присмотреться к той части человека, которая, на мой взгляд, сработана лучше — к голове. Вот она, нарисованная в мастерской Эль Греко. Глаза, обманчиво лучащиеся пониманием самых высоких христианских добродетелей, тонкие брови, четкие носогубные складки, широкие чувственные ноздри (как у породистого коня, хочется добавить). Все, дальше ничего!

Музыка, донельзя подходящая, заполняет салон газельки — в меру средневековая, в меру романтическая, овеивает как бы ветром, окружает ореолом голову человека, она придает окончательный блеск голове. Звуки как бы плывут в воздухе. Он поворачивает голову в сторону окна... нагибается вслед рукам, рыщущим по карманам в поисках денег... смотрит на водителя... устремляется к выходу...

Я смотрю на закрывающуюся дверь и замечаю, что окна в автобусе прозрачны и чисты. Стекло, разделяющее внешнее и внутреннее, идеально и безупречно. Оно, холодно поблескивая, беспристрастно показывает внешний мир, не искажая его, не комментируя эмоционально его содержимое, при этом незаметно отделяя меня от вредных, страстных воздействий, от пыли, от грязи, от жары, от человеческого тепла, ненадежного и требовательного.

Дома я завариваю кофе и наливаю его в стакан в металлическом хай-тековском подстаканнике. Кофейник — в том же духе. Горячий кофе дымит над стаканом, бесследно рассеиваясь в воздухе комнаты. Металл нагревается, но ручка неизменно остается холодной. Добивался ли дизайнер такого эффекта, неизвестно. Но он существует сам по себе, верный мне своим постоянством. Я ставлю стакан рядом с компьютером и они, современные, признают друг друга. Не замечая меня, все же принимают в свою компанию. Кофе из стакана перетекает в меня, наполняя чем-то далеким и сближая меня с этой группой предметов. Мы молчим, храня в себе близость друг к другу, хрупкость наших чувств, вечность момента. Я чувствую обтекаемость моего тела, минимализм его деталей, точно выверенный цвет и миллиметраж моих волос, цвет глаз, совпадающий с цветом футболки, умеренную жесткость и функциональность брюк. Я искусно сделанный предмет в мастерской природы, воспользовавшейся недрами моей матери. Резкий звонок телефона выводит меня из задумчивости. Взволнованный голос призывает меня к сочувствию и спасению.

Моя подруга выходит из-за угла дома. Она молчит, не замечая меня. Выражение лица замкнутое, необычное для нее. Я привыкла, что она постоянно разговаривает, при этом глядя прямо перед собой. И я не знаю, с кем она говорит — со мной или сама с собой? Хотя, какая разница? Если сама с собой, это даже лучше. Она ведь совсем не знает меня,

чтобы действительно увидеть меня такой, какая я есть и установить со мной связь. Такую, какая у меня есть со стаканом, венским стулом в моей комнате, маленькой белой лампой на прищепке, с книжным стеллажом, на котором затаилась она, перламутровой раковиной, глиняной рыжей кринкой... Света идет, сама не подозревая, насколько она сейчас ближе мне и роднее, если особенно она сейчас пройдет мимо.

Подруга останавливает на мне взгляд, и все очарование момента рассыпается. Я вхожу в ее влияние, как Луна — во влияние Земли. Я прикидываюсь человеком. Что, ты опоздала? А я и не заметила. Нет, стою недолго. Мда... Я предполагала, что он выкинет нечто подобное. Да-да, он таким был и тогда, когда его знала — ненадежным, представляющим себя не таким, какой он есть. Ты расстроена? Но у каждого свои недостатки, — у моего, например, их гораздо больше, потому что я его знаю дольше и лучше. Это ерунда, не отчаивайся.

На голове Светы развеваются рыжеватые волосы ботичеллиевской Венеры. Глаза, погрузневшие, смотрят куда-то вдаль. Едва заметные веснушки на носу придают ей очарование земной женщины. Мочка уха беззащитно выглядывает из-под прядей. Света уже почти развеселилась. Она достает из сумки черно-белые фотографии обнаженных людей, которые собирается подарить врачу, наблюдающего у нее перманентное возникновение и угасание цистита. Гинекологические передрыги создают вокруг нее ореол женственности, находящейся вечно под угрозой разрушения. Мне жаль, мне становится действительно жаль, что природа не дорожит таким выдающимся своим произведением, отдавая его во власть микробов и вирусов, слабо защищая его неприкосновенность и лишая права на вечную жизнь. Того права, которым обладают простые предметы.

Даже вот эти разбитые черепки под музейным стеклом, перед которыми я стою сейчас, наполнены магией вечности.

Артефакты, свидетельствующие о существовании человека несколько тысячелетий тому назад, ехидно улыбаются мне, смертной и недолговечной. Они скромно раскинулись на пепелище первобытного костра, немного обработанные песком и ветром и приобретшие дополнительное очарование.

Рядом лежит браслет в зверином стиле. Не совсем понятно, прищуренные глаза какого животного скрываются за зеленью, покрывшей древнюю бронзу. Но и патина, и металл сами по себе мягко излучают красоту мегалита, палеолита и прочего прошедшего времени. Времени, которое для них никогда не текло, не убегало, не останавливалось. Для них не существует времени, даже если они меняются под его влиянием. Они жители пространства.

А мы жители разрушительного времени — мягкие, слабые, раздраженные, мнущиеся, умирающие, каждую минуту изменяющиеся. Мне не хватает вечности, которая всегда есть в предметах, в вещах самых простых. Она в них живет своей потаенной жизнью. Всегда живет... всегда...



## Тогда дождь

Я шла в музей под проливным дождем, начавшимся редкими тяжелыми каплями еще тогда, когда я подъезжала на автобусе к остановке. Он лился струями, лишая надежды на то, что, попав под него, можно остаться сухим даже под зонтом. Я нырнула в подворотню старого деревянного двухэтажного дома. Перекосившийся вход не внушал доверия, но под ним было сухо, вода тонким ручейком только начинала пробиваться в его глубь. Я шла в музей под проливным дождем, начавшимся редкими тяжелыми каплями еще тогда, когда я подъезжала на автобусе к остановке. Он лился струями, лишая надежды на то, что, попав под него, можно остаться сухим даже под зонтом. Я нырнула в подворотню старого деревянного двухэтажного дома. Перекосившийся вход не внушал доверия, но под ним было сухо, вода тонким ручейком только начинала пробиваться в его глубь.

Мне показалось место знакомым, я его узнала — эту лестницу на второй этаж, низкую дверь, обитую черной рваной клеенкой. Здесь я была. Вот и дорожка, ведущая от подворотни в подъезд. Я прошла по глинистой раскисшей земле, стараясь не попадать в лужи, и посмотрела на дверь, обычно запертую на тяжелый амбарный замок. С изумлением увидела, что замок бессильно повис на щеколде, а дверь чуть приоткрыта. Мелкий мусор был виден на первой ступени, бумажные клочки, щепки. Это так показалось странным, — она ведь всегда была закрыта! Всегда! Кроме тех дней, когда он был дома. Но это было так давно, что уже не верится, что он когда-то был дома. Может быть... Мне показалось место знакомым, я его узнала — эта лестница на второй этаж, низкая дверь, обитая черной рваной клеенкой. Здесь я была. Вот и дорожка, ведущая от подворотни в подъезд. Я прошла по глинистой раскисшей земле, стараясь не попадать в лужи, и посмотрела на дверь, обычно запертую на тяжелый амбарный замок. С изумлением увидела, что замок бессильно повис на щеколде, а дверь чуть приоткрыта. Мелкий мусор был виден на первой ступени, бумажные клочки, щепки. Это так показалось странным, — она ведь всегда была закрыта! Всегда! Кроме тех дней, когда он был дома. Но это было так давно, что уже не верится, что он когда-то был дома. Неужели...

Я медленно, шаг за шагом, отсчитывая ступени, поднялась по крутой, пыльной лестнице наверх. Они скрипели под ногами. Неужели сейчас я встречу... Но на дверях на втором этаже висел замок. Такой же большой и внушительный как внизу. Подергав зачем-то дверь, не шелохнувшуюся, встала рядом и огляделась. Слева от меня стоял раскрытый настешь маленький шкафчик, на полках которого лежала пыль. На полу с щелями валялся ворох бумаг, среди которых я заметила несколько старых журналов «Октябрь», книги с оторванными обложками и несколько скрепленных

листов бумаги с напечатанными на машинке стихами. Никто из знакомых не использует печатную машинку уже несколько лет. Я подняла желтоватые листочки. На них с крыши накапала вода и, влажные, они, мягко перегибаясь, легли на ладонь. *Посвящается жене Алене*, прочитала я эпиграф на первом листе. Алене — это той смешливой девушке с раскосыми глазами и длинной черной косой до пояса. Она всегда одевалась в белые платья. Потом у нее погиб мальш, попав под машину. Что он может попасть под машину или упасть с балкона, смутно угадывалось еще тогда, когда он самостоятельно и упрямо убежал на другой конец микрорайона, а мама бежала за ним, нервно улыбаясь. Я медленно, шаг за шагом, отсчитывая ступени, поднялась по крутой, пыльной лестнице наверх. Они скрипели под ногами. Неужели сейчас я встречу... Но на дверях висел замок. Такой же большой и внушительный как внизу. Подергав зачем-то дверь, не шелохнувшуюся, встала рядом и огляделась. Слева от меня стоял раскрытый настежь маленький шкафчик, на полках которого лежала пыль. На полу с щелями валялся ворох бумаг, среди которых я заметила несколько старых журналов Октябрь, книги с оторванными обложками и несколько скрепленных листов бумаги с напечатанными на машинке стихами. Никто из знакомых не использует печатную машинку уже несколько лет. Я подняла желтоватые листочки. На них с крыши уже накапала вода и, влажные, они, мягко перегибаясь, легли на ладонь. *Посвящается жене Алене*, прочитала я эпиграф на первом листе. Алене — это той смешливой девушке с раскосыми глазами и длинной черной косой до пояса. Она всегда одевалась в белые платья. Потом у нее погиб мальш, попав под машину. Что он может попасть под машину или упасть с балкона, смутно угадывалось еще тогда, когда он самостоятельно и упрямо убежал на другой конец микрорайона, а мама бежала за ним, нервно улыбаясь.

Стихи, следовавшие за эпитафией, не воспринимались как стихи, а как эпизоды из той далекой жизни, полной молодости, портвейна и безотчетности происходящего. День рождения Алены. На закуску - белые мелкие яблоки со свежим вкусом китайки, которые с брызгами раскусывались и запивались вермутом. Холодное синее небо и ветер из балконного окна. «У нас люди с виду незатейливые, а внутри — очень даже непростые, злые...» — слова, сказанные куда-то в угол, где висит моя картина «Любовники на мосту». Почему любовники? Как у Шагала, наверное, — у него любовники белые, черные, синие, розовые, серые. Стихи, следовавшие за эпитафией, не воспринимались как стихи, а как эпизоды из той далекой жизни, полной молодости, портвейна и безотчетности происходящего. День рождения Алены. На закуску белые мелкие яблоки со свежим вкусом китайки, которые с брызгами раскусывались и запивались вермутом. Холодное синее небо и ветер из балконного окна. Унаслушисвидунезатейливые,авнутри—очень-даженепростые,злые... — слова, сказанные куда в угол, где висит моя картина Любовникамосту. Почему любовники? Как у Шагала, наверное, — у него любовники белые, черные, синие, розовые, серые.

Положила листки на пол на то же место, где взяла. Мне не хотелось оставлять здесь следы своего пребывания. Пусть останется так, как было до меня и после меня. На шкафчике замечаю несколько свежих яблочек, как будто вчера сорванных. Значит, он здесь был недавно, и яблоки положил на шкаф, чтобы не мешали, открывая тяжелый замок на дверях. А потом забыл про них. Потянулась рукой к яблокам, но передумала и достала из рюкзака термос с зеленым чаем. Его я взяла, зная, что день проведу, возможно, на берегу реки или бродя где-то по окраинам города. Налила горячий чай в крышку от термоса, он дымился в похолодевшем воздухе. Дождь по-прежнему хлестал в



крышу веранды, просачивался сквозь нее и уже в двух местах струйки лились на пол, проникая в щели и дальше на первый этаж. Один край крыши вообще провалился от дряхлости и в него видно серый кусок мокрого пространства. Я пью, обжигаясь, чай и вспоминаю, как хозяин этой квартиры ласково принимал меня, усадивши на продавленное кресло, набросив предварительно на него старое покрывало. Мы читали его и мои стихи, смеялись и договаривались о следующей встрече. Собственно, договаривалась я, а он говорил, что здесь он временно и располагает собой лишь частично и поэтому ничего не может обещать. Он как будто интуитивно чурался фальши и пошлости и всегда отчетливо определял границу в отношениях, за которую он бы не хотел никого пускать. В течение жизни бывает многое переосмысливается, что доказывает, что строить схемы на всю жизнь и порой даже на ближайшие дни не очень благоразумно, — все течет, все изменяется. И, действительно, как бы в доказательство этой мысли, в назначенный мною день его не бывало дома. Замок неумолимо и безнадежно висел на дверях внизу. Записка, что-либо объяснявшая, отсутствовала. А в следующую случайную встречу где-нибудь на улице он говорил: Положила листки на пол на то же место, где взяла. Мне не хотелось оставлять здесь следы своего пребывания. Пусть останется так, как было до меня и после меня. На шкафчике замечаю несколько свежих яблочек, как будто вчера сорванных. Значит, он здесь был недавно, и яблоки положил на шкаф, чтобы не мешали, открывая тяжелый замок на дверях. А потом забыл про них. Тянусь рукой к яблокам, но передумываю и достаю из рюкзака термос с зеленым чаем. Его я взяла, зная, что день проведу, возможно, на берегу реки или бродя где-то по окраинам города. Наливаю горячий чай, дымящийся в похолодевшем воздухе. Дождь по-прежнему хлещет в крышу веранды, просачивается сквозь нее и уже в двух местах

струи льются на пол, проникая в щели и дальше на первый этаж. Один край крыши вообще провалился от старости и в него видно серый кусок мокрого пространства. Я пью, обжигаясь, чай и вспоминаю, как хозяин этой квартиры ласково принимал меня, усадивши на продавленное кресло, набросив предварительно на него старое покрывало. Мы читали его и мои стихи, смеялись и договаривались о следующей встрече. Собственно, договаривалась я, а он говорил, что здесь он временно и располагает собой лишь частично и поэтому ничего не может обещать. Он как будто интуитивно чурался фальши и пошлости в отношениях и всегда отчетливо определял границу в отношениях, за которую он бы не хотел никого пускать. В течение жизни бывает многое переосмысливается, что доказывает, что строить схемы на всю жизнь и порой даже на ближайшие дни не очень благоразумно, — все течет, все изменяется. И действительно, как бы в доказательство этой мысли, в назначенный мною день его не бывало дома. Замок неумолимо безнадежно висел на дверях внизу. Записка, что-либо объясняющая, отсутствовала. А в следующую случайную встречу где-нибудь на улице он говорил:

— Простите великодушно, не смог, дела были, и вообще отлучался из города.

Конечно, я прощала, что мне оставалась? Потом он куда-то уехал на полгода, говорили, что в другой город, где у него появилась женщина, у которой он и жил. Говорили, что эта женщина из его молодости, которую он очень любил, но она вышла замуж за другого, а теперь вот развелась. Уехала и я в другой город, утратив связь с ним на годы. Но все же до меня смутно доходили слухи, что он вернулся, стал много пить, но по-прежнему зол и весел.

Дождь постепенно стихал. Водный поток с потолка иссяк, превратившись в редкие капли, со стуком падавшие на промокшие книги и бумагу. Устав стоять, я уже решила

уйти, но слышала звуки открывающейся снизу двери и мне вдруг стало жарко, и я растерянно замерла, сразу ярко вспомнив его лицо, хмурое, когда его не видят и вмиг веселеющие глаза при встрече. Сейчас он удивится, увидев меня, а потом, сняв с дверей замок, пригласит меня внутрь, усадит на грязное кресло, извиняясь и несколько не сожалея о своей бедности и отсутствии новой и красивой мебели.

Несколько секунд спустя на лестницу вскарабкались двое мальчишек и с испугом уставились на меня. Ааа... они здесь играли!

— Кого ищите? — спросила я, чтобы как-то вывести всех нас из ступора. Они сразу замотали головами и кинулись вниз по лестнице, крича:

— Здесь его нет! Наверное, побежал туда! — они продолжали прерванную дождем какую-то первобытную мальчишескую игру в разбойников. Здесь, на веранде, у них, похоже, было важное место, где можно было спрятаться и что-то спрятать. И яблоки, наверное, это они оставили на шкафчике. И впрямь, на веранде царил беспорядок, какой образуется в течение нескольких лет в заброшенных помещениях. Хотя хаос и беспорядок здесь утрачивал свое истинное значение символизировать долгое отсутствие хозяина. Хозяин никогда его не чурался, объясняя, что жить можно и так, и никому это не мешает.

— Стоит ли умирать за идеи, в которые уже не веришь? — говорил он фразы, в которых я смутно угадывала связь с нежеланием наводить порядок и казаться не тем, кем являешься на самом деле.

— Чувствуй мир непосредственно, без иллюзий, — говорил он, послушав мои стихи. Но как это понимать? Ведь одни иллюзии сменяют другие, и так бесконечно, как казалось мне. Вот и он представлялся мне то добрым и чутким, а то жестоким и бездушным. Казался он таким или был на самом деле, таким изменчивым и непостоянным? Порой смут-

но угадывалось, что в нем всегда что-то оставалось неизменным, несмотря на внешнюю текучесть, неуловимость.

Мухи на окне зашевелились, зажужжали, почувствовав свет на своих крыльях. Жужжание их отвлекло меня от воспоминаний и, глянув в боковое окно, выходящее во двор, я увидела, что дождь окончательно прекратился. Осторожно держась за перила, я спустилась вниз, на самой последней ступени с сожалением оглянувшись — все же никого там не было, только разруха и пыль.

Двор встретил ярким блеском солнца в лужах, ручьях, мокрой траве. Сразу стало жарко, как бывает в самой сердцеvine лета. Воробьи шмыгали по зарослям конопли и лебеды, драчливо чирикавая. Здесь все неуловимо изменилось с тех пор, когда я приходила в поисках настоящей поэзии. Мне припомнилось, что рядом с домом, прямо во дворе, среди старых лип было кострище, рядом с которым лежали два темных, корявых бревна, на которых мы сидели, когда изредка по вечерам романтично жгли костер из сломанных ящиков и коробок, валявшихся у соседнего магазина. Соседи иногда сами палили костер и жарили на нем шашлык, и тогда в окна были слышны их энергичные восклицания и нестройное пение. Те лица, которые я видела на этом дворе, производили на меня всегда впечатление разбойников, довольных собой и своим существованием, и отличавшихся особой ловкостью и сноровкой в деле приспособления к жизни. Интересно, сохранилось ли это место? Я осторожно, пробираясь между водными потоками, приблизилась к кострищу, и здесь ждало меня новое разочарование. На месте почерневшего кострища красовался столик из свежего дерева и пара лавочек. Наверняка, здесь стало удобнее, но было жаль тех уютных вечеров, проведенных около пламени, под теми далекими звездами.

Я вышла со двора, не оставив за собой ни следа. Как будто бы сюда я никогда не заходила. Как будто одно

единственное письмо, посланное мне вдогонку в тот далекий сентябрь, не нашло адресата, как будто тогда моя жизнь в этом городе закончилась и началась совсем другая, в совсем другом городе, такая, какой мне и казалась должна быть настоящая жизнь.



## Татуи и о нем

По телевизору показывали разных людей, в существование которых порой не верилось.

Человек-леопард, английский военный, порвавший с обществом и поселившийся на необитаемом острове в водах Шотландии.

— По-другому я жить уже не смогу. Я сделал свой выбор и не жалел о нем ни минуты.

Одетый в черный спортивный костюм по случаю журналистов, он был похож на водолаза, вылезшего из заросшего тиной пруда. Но когда он снял свой костюм, стало ясно, что это не морской котик, а леопард. Вся кожа на его теле была покрыта татуировками в виде пятен леопарда. Витязь в леопардовой шкуре. На лице пятен было поменьше, и они как-то не особенно бросались в глаза. На остальном теле не осталось ни участка чистой кожи. Эстет. Или

чтобы никогда уже не показываться в цивилизованном обществе. Сжег мосты приличия. Хотя кому-то это очень бы понравилось. Английское общество толерантно, в отличие от российского.

Он построил дом из камней, сливающийся с местностью. Что-то вроде землянки, покрытой каменистым потолком. Питается консервами, купленными на армейскую пенсию.

— Я хотел стать монахом, но оказался слишком стар для этого. И тогда я решил сделаться отшельником.

И мне очень часто не хочется общаться с людьми. Не потому, что не понимают. Наоборот, некоторые настолько хорошо все понимают, что говорить становится не о чем. А другим рано или поздно надоедает жевать одно и то же.

— Не надо никому ничего объяснять. Поймут только те, кто уже все понимает, — это уже не человек-леопард сказал, а одна моя подруга, которая тоже вскоре отказалась от человеческого общества. Не так радикально, правда.

Она жила в старом деревянном доме, оставленном ей родителями. Дом стоял и стоит рядом с кладбищем. Фило-софское соседство. Хотя, когда к этому привыкаешь, то о покойниках вспоминаешь редко. Тихие, молчаливые соседи. Расстройством психики она не страдала, и привидения ее не тревожили. О них вспоминали ее редкие гости. Я, например.

Приходила я к ней всегда в растрепанных чувствах. Когда мне казалось, что ужасами, кошмарами, привидениями, вампирами, зомби, ожившими покойниками и просто негодьями и подонками земля просто кишит. И самое главное — смерть. Смерть всегда однозначна и бесспорна, горячо толковала я. Если даже нет ничего, то смерть всегда есть!

— Все там будем, — кивала на окно Ольга. — Ну и что?

— Вот именно! А люди не помнят этого, треплют друг другу нервы, как будто жить собираются вечно.

Мне хотелось жить с ней под одной крышей. Вместе пить чай с медом зимой, летом — обрабатывать огородик и

кормить кроликов. Как Медвежонок и Ёжик, значит. Или как две отшельницы — человек-художник и человек-никто.

Человек-художник — это была она. После окончания художественно-графического факультета Ольга нигде не работала. Она писала картины, которые иногда удавалось продавать. На это и жила. Туманные картины, где мелькали неясные женские лица, заборы, кошки, птицы, скамейки, деревья, река, старые потрескавшиеся стены, травы... Я называла их лондонскими туманами.

Люди и предметы возникали ниоткуда и исчезали в никуда. Но туманы были вполне родные, — они, наверное, везде одинаковые.

Ольга вставала рано, карауля эти самые туманы. Брала фотоаппарат, в последнее время цифровую «мыльницу», и шла из дома, фотографируя все подряд. Фотографии не были прообразами картин, но были самостоятельными видениями. Некоторые она печатала и клеила на стены, иногда слоями, как на уличной тумбе для объявлений. Там я иногда могла заметить знакомые лица и свое лицо. Не было резких линий, агрессивных движений. Она любила фотографировать старух. Их, как будто вырезанные из дерева лица, обрамленные в потертые до дыр платки, смотрели бесстрастно, как африканские маски. Сложенные на коленях руки, морщинистые и сухие, вызывали в памяти сморщенные заячьи лапки.

Вместе с Ольгой в мое сердце вошла сирень в палисаднике, сквозь которую просвечивало кладбище, наши прогулки в час между волком и собакой, — час, когда невозможно разобрать, кто это: волк или собака, живой человек или мертвый... Разговоры о прекрасном будоражили мою душу. Влажно пахнущий сумеречный воздух, увядающие листья под ногами, расплывающиеся силуэты под фонарями, пурпурный или розовый, каждый раз незабываемый закат солнца, восход луны... они были ни хорошими, ни плохими.



Освященные традицией прекрасного, на самом деле они не были ни красивыми, ни некрасивыми, они просто были и задевали меня всегда, когда настроение было безмятежным и чуть тронутым тревогой исчезновения и непрочности происходящего вокруг.

Еще была гитара, на которой Ольга играла вечером, когда к ней приходила старенькая мама. Так дочь успокаивала ее, наперед зная, о чем будет говорить мама, — не пора ли Ольге замуж, родить детей?

По возрасту, конечно, ей было вроде пора. Давно пора. Мужчины засматривались на нее, высокую, с распущенными светлыми волосами, зелеными глазами, с мелкими веснушками на носу и щеках. Когда-то давно она недолго училась в школе моделей. «Скучно». Худая, одетая в джинсы, просторный джемпер, казалось, что личная жизнь должна складываться у нее сверхъестественно удачно. Однажды я не вытерпела, спросив, почему у нее никого нет. Ольга засмеялась. Она долго не говорила мне, что она девственница.

«Зачем это надо?» — смешно недоумевала она. Я вставала в тупик, пытаюсь четко и внятно сформулировать, зачем это надо.

У меня самой в этой сфере как-то не очень ладилось. Муж, ребенок, его родители в нашей квартире почти сняли потребность в сексе. Но было же это когда-то, черт возьми! И было очень даже хорошо, я это помнила. Мда... «Мне подруга рассказывала, что однажды попробовала, и ей не понравилось». Я хохотала. Мне казалось, что хоть в чем-то я превосхожу Ольгу. В опыте с мужчинами. Рекламируя секс, я привирала, описывая его крайнюю необходимость, прекрасные ощущения, при этом заводясь сама. Ольга брала китайские сказки и уходила на веранду читать. А я тупо сидела у окна, терзаясь от отсутствия мужчины в этот момент.

«Девственники инфантильны и сексуально слабые типы, — так объяснил мне один знакомый психотерапевт, —

и, вообще, это патология, если женщина в таком возрасте...». О такой патологии можно только мечтать, казалось мне. Сколько сил освобождается для жизни! Сколько энергии из меня высосали мои влюбленности и влюбленные в меня! — Столько вырабатывает маленькая электростанция в течение года. Или двух.

Ольга организовала выставку в частной галерее и большую часть картин продала. Это был довольно неожиданный для нее триумф. Бумажные деньги пухлой пачкой скопились в обшарпанной китайской шкатулке. «Деньги — переносчики вирусов гриппа», — говорила она, проветривая шкатулку на солнце. Ольга перестала рисовать маслом, так как с ним было хлопотно: пахнут растворители, портятся кисти. Она купила акриловые краски, несколько керамических и стеклянных ваз для цветов и перестала есть мясо, — больше ничего не изменилось в ее жизни. «Мясо едят нервные люди, а мне сейчас спокойно», — объяснила она последнее.

Есть что-то, что она скрывает от всех, казалось мне. От меня в том числе. Какой-то секрет или гормон, который вырабатывает ее организм, далекий от обычных обывательских организмов. Некий эндорфин. Почему ей ничего не надо? Ей даже не надо было бы рисовать, если бы вдруг исчезли кисточки или краски, бумага и холсты. Она оставалась бы в том же месте, пила бы чай и гуляла по вечерам. Социальный инстинкт как будто отсутствовал в ней напрочь. Люди ее, скорее, раздражали, хотя она этого не показывала. Они притягивались к ней и почти сразу исчезали, чувствуя свою ненужность. И я старалась казаться не совсем существующей, молчаливой и занятой чем-то своим.

«Она курит травку», — был убежден мой товарищ, увидев ее со мной на улице. Но трансовое состояние было всегда с ней и в ней самой. Не надо было делать что-то специально для этого. Скорее, она избегала тех и то, что

разрушает это состояние — обычные дела, какими мы занимаемся каждый день с утра пораньше и до позднего вечера. Только ночь может заставить прервать этот трагический бег дел. Только ночь снами напоминает о том, что человек хорошо забыл, но помнит где-то в своей глубине.

Одной быть хорошо. Никто не требует внимания, любви, еды, секса, пришивания пуговиц, поддержания разговора на бессмысленные темы, участия в бессмысленных делах, заполнения квитанций, голосования... Что тогда остается? Что осталось для человека-леопарда? Что-то было когда-то в детстве, ускользающее, то, что кажется почти ничем. Это надо вспомнить, надо вспомнить... Я ничего не могу найти в своей памяти, перерываю мятые бумаги, ворошу пыльные предметы...

Ничего, ничего, я и не тороплюсь...



## Трибунальные

Это было вкусное печенье, хрустящее, с тающими во рту кусочками молочного шоколада. Печенье «Утреннее», сегодня утром купленное в супермаркете. Оно было призвано не столько насытить чрево, сколько душу. Горячий кофе из пластмассовой чашечки согревал живот под длинными, цвета необожженной терракоты, летними брюками. Они были действительно летние, — так не хотелось впускать в себя осень, отнимающую, как казалось, последние летние мечты о внезапном счастье, о волшебной встрече, которая бы перевернула мой мир.

Все лето я провела в городе. Короткое и дождливое лето. Оно было наполнено бурными грозами, длинными молниями, полосовавшими небо до земли, морозящими сутками напролет дождичками, утренними туманами и городским смогом. Днем солнце могло немилосердно палить, и

испарения от влажной земли поднимались в воздух, удуш-  
ливые, вызывавшие у детей приступы астматического каш-  
ля, а у мужчин и женщин — мигрень. Почти высохшая  
земля, готовая шуршать под ногами песком, на следующий  
день неизбежно намокала. Казалось, надо переждать это  
время, и лето проявит себя. Река, тускло поблескивающая  
под обложенными тучами небесами, засверкает, и вода в ней  
прогрееется до терпимой температуры. Я выйду в новом  
купальнике, разложу на песочке соломенный плед, куплен-  
ный специально для такого случая, буду потягивать через  
соломинку сок и ждать. Да, ждать внезапной встречи. Смешно,  
конечно. Женщине в тридцать восемь лет, ждущей встречи,  
которая бы озарила жизнь новым смыслом, хотелось бы  
посоветовать искать ее где-нибудь в другом месте и другим  
способом. Телеса, утратившие былую прелесть, как это ни  
прискорбно констатировать, вряд ли привлекли бы достой-  
ную кандидатуру. А что еще можно демонстрировать на  
пляже? Только тело. Ум, душа, чувственность остаются за  
кадром. Лето осталось за спиной, так и не дав возможность  
реализовать эту идею.

Но я уже пробовала по-другому и к тому же доста-  
точно давно. Интернетовские знакомства поначалу внуша-  
ли ощущение больших возможностей. Их там было так  
много — мужчин, одиноких и женатых, молодых и старых,  
богатых и не очень богатых, демонстрировавших машины,  
роскошные загородные дома, вальяжные завтраки на фоне  
ницц и венеций, уверявших в своей исключительной поря-  
дочности, эротичности, ищущих встреч на один-два раза на  
«ее территории» и любви до гроба, если претендентка по-  
нравится и он полюбит ее по-настоящему. Ха, по-настоя-  
щему! Как это? Мне казалось, что я влюблялась в мужчин  
всегда по-настоящему, желая иметь с ним общего ребенка.  
Это всегда было признаком, что я люблю. Люблю по-  
настоящему.

Одного я так и спросила: как это «по-настоящему»? И вот что ответил мужчина тридцати шести лет, имеющий профессию программиста: «Это когда после первого раза с ней хочется второго и третьего...» Мда, имела ли профессия к этому ответу хоть какое-то отношение, не знаю. Вряд ли. Сорокапятилетний финансист, оснащенный мерседесом с загадочными цифрами на капоте 777, о чем он сразу же сообщил мне в аське, пожелал провести со мной ночь немедленно. Такой ему я показалась привлекательной на сайте знакомств. Фотографию для анкеты я подобрала, выгодно подчеркивающую грудь и попу, как мне посоветовала подруга, компетентно заявившая, что именно эти места привлекают мужчин и именно они определяют, с их точки зрения, ценность женщины. «Они смотрят только на твое физическое состояние, — говорила она, — инстинкт самца подсознательно выбирает здоровую телку, которая могла бы нарожать ему здоровых детей, даже если рожать с ней детей он и близко не хочет».

Не знаю, насколько крупным был детородный орган финансиста и достаточно ли активны были его сперматозоиды для успешного зачатия — это меня, честно говоря, никогда не интересовало. Меня заинтриговало, хочет он со мной провести пылкую ночь по любви или за деньги? «По любви, конечно», — энергично откликнулся он. По настоящей, видимо. Настоящей бесплатной и, значит, бескорыстной любви. Но с какой стати? Я его, совершенно не зная, полюбить не успела. Неужели он меня успел полюбить по фотографии? Такое предположение даже для меня казалось неправдоподобным и слишком романтическим. Или, скажете, я в себя не верю, в свою сногшибательную внешность? Не верю. Или, точнее, верю, но не в этом случае.

Десятки виртуальных знакомств, восемь встреч в кафе и пара встреч на «моей территории» убедили меня, что что-то здесь не так. Или со мной, или с мужчинами, обитающи-

ми на сайте. Одна встреча для секса не устраивала меня, а длительные отношения — их. Может, все дело было в фотографии? Наверное, надо было выбрать ту, что пострашнее. Но к этому времени я была разочарована и счета за Интернет стали уж чересчур накладными для простой труженицы библиотеки.

После последней встречи в дорогом кафе за невероятно дорогой пищей с бесконечно далеким мужчиной, казавшимся в переписке очень даже подходящим для долгого романа, я решила, что отдамся на волю случая, традиционно спасавшего меня в жизни.

Все эти поиски отвлекали меня от депрессии, затянувшейся после развода с мужем. Да, был развод с мужем, с которым мы прожили девять лет. Не было детей, но, думаю, причина была не в этом. Он обвинил меня в том, что я сумасшедшая и что ему хочется жить с нормальной женщиной, которая станет ему штопать носки, пришивать пуговицы и варить борщи. Я же, по его словам, занималась чем угодно, только не им, своим мужем. Йогой, например. Или бизнес-курсами. Или чтением. «Жена-чтица» — его определение. И вот два года назад он встретил другую женщину. Другую во всех отношениях. Он предпочел девушку на семнадцать лет его младше. Я его предупредила, что разница в возрасте свыше пятнадцати лет — роковая. Они люди настолько разных поколений, что рано или поздно это выйдет ему боком. Или передом. Кстати, борщи варила она еще хуже меня.

Я не ожидала, что развод будет столь болезненным для меня. Кирилл стал частью меня, родственником, единственным на свете. Кроме него, оказалось, у меня не было никого на всем белом свете. Я сама не ожидала, что семья для меня значит гораздо больше, чем я могла предположить. Семья в виде моего мужа, который присутствовал рядом, жил, дышал, слушал меня, варил мне щи, когда я поздно возвраща-

лась из библиотеки. Он ждал меня, звонил по телефону, беспокоился, если я задерживалась. Это стало моей привычным укладом, в котором мне, оказывается, не хотелось ничего менять.

Я то злилась на Кирилла и пыталась доказать, что прекрасно смогу обойтись и без него, то плакала, просыпаясь утром в слезах. Особенно по утрам приходили в голову самые печальные мысли о собственной участи: скрытая и тем не менее неотвратимая болезнь уложит меня за два года в могилу; несчастный случай лишит жизни, или даже, возможно, уже сегодня я стану инвалидом. Кто тогда придет ко мне, навестит? Родители? Они, желчные, с непоправимо сокрушенной нервной системой, живут в другом городе. Бывший муж? Ха-ха! С кем-то, с кем можно быть любовницей? Но именно такая связь, от которой ждешь близости и надежности, оказывается наименее прочной и опасной. Я начала смиряться с тотальным одиночеством. Осталась одна, твердила я себе, одна, одна, одна. Почему это случилось? — спрашивала я подругу, которая выдвигала много версий. Ни одна из них мне не казалась убедительной. Возможно, ему хотелось детей больше, чем он признавался. А у меня их быть не могло. Но многие семьи живут без детей, многие жены не умеют варить щи, многие женщины читают книги, немало женщин не понимают до конца своих мужей. Ну и что? Живут себе спокойно вместе, не разводятся. От тоски я купила толстую поваренную книгу и попробовала сварить борщ. Мясо, которое я раньше никогда не покупала, пришлось выбирать, полагаясь на вкус продавщицы. Сварила я борщ. Ну и что? Суп как суп, стоит ли из-за него ломать копыя? Умею я варить его, но это так неважно стало сейчас. И я подозреваю, что и раньше это было не столь важно. А что же важно, господи?

Секс, значит. Вот об этом толковали на сайте. Его предлагали и юнцы восемнадцати лет, и старцы. Энергично, стыд-



ливо порой, нахально и вкрадчиво, тихой сапой. В первый раз я согласилась, учитывая, что человек долго не поднимал эту тему в переписке, чем выгодно отличался от многих. Я пригласила его на встречу и отвращения он не вызвал. На следующий вечер он остался у меня на ночь. Было неплохо, но восторга я не испытала. И потому, что это был еще чужой человек, и самое главное, что я не была в него влюблена. Ощущение тоски только усилилось. «Пост коитум анима стирне ест», всплыла фраза из латыни, то есть после совокупления животное грустное. А почему грустное? Да потому, что без души, нет ее у животных. Хотя многим нравится и так.

Во второй раз я встретила у себя дома с женатым мужчиной. Он не настаивал на сексе, был нежен и разговаривал со мной ласково и трепетно. У меня даже мелькнула мысль, что это мы с ним муж и жена, а ночью он уйдет к любовнице. Эта мысль меня напугала. Я не хотела к нему привязываться, привыкать. Потом я бы стала ревновать, пытаться звонить ему домой, развести их. Все это промелькнуло перед моими глазами как грозное предупреждение, и встреча наша так и не превратилась во что-то более многообещающее и постоянное. Я перестала писать ему, отвечать на его звонки. Хотя этих звонков было всего два. Разочарование в электронной свахе усилилось, как и печаль по поводу невозможности счастья. «Счастьем я не дорожу...», вспоминала я строчки Давида Самойлова и думала, как это может быть? Как может случиться, что человек не дорожит своим счастьем? Все бьются за него, как могут и как позволяют им условия, а поэт просто и несуетливо, скромно поглядывая по сторонам, счастья не ищет. И так можно. Но счастья я давно не чувствовала. Тут мы с ним были равны, если я правильно поняла, что он несчастлив.

Именно об этом и о том, что лето прошло, я думала, сидя за столиком в кафе на берегу Волги. Немного зноби-

ло — температура упала до плюс четырнадцати градусов и еще дул ветер с Волги. Промозглая осень, морозящие тоскливые дожди, невидимое за тучами солнце — депрессивный пейзаж. Скоро декабрь, думала я. Хотя до него оставалось больше двух месяцев.

Все печенье растаяло во рту, когда за столик молча уселся незнакомый человек. Мужчина примерно двадцати девяти лет, бледный, с черной бородкой, с черными очками на глазах сел напротив меня, рассматривая что-то за моим плечом. Я подняла голову и с удивлением отметила, что он ничего в кафе не взял — ни чая, ни кофе, ни пиццы, ни пива. Особенно последний напиток был здесь популярен. Одетый в черную водолазку и легкий болоньевый плащ, он показался мне отдаленно на кого-то похожим.

Допивая кофе, я искоса наблюдала за ним. Человек сжимал в длинных бледных пальцах с черной каймой под ногтями маленький листочек бумаги. Он беспокойно разворачивал и сворачивал его в трубочку. Лицо, в отличие от рук, не выражало никаких чувств. Бесстрастное и каменно-спокойное, оно бледнело в окружении черных очков, водолазки и плаща. Как романтично он выглядит, поймала я себя на заинтересованной мысли. Кофе был выпит, но странная молчаливая отрешенность соседа меня постепенно зачаровала, я тоже стала чувствовать этот неповторимый привкус меланхолии, овладевший мной в последнее время, сменившей отчаяние и бурные потоки слез. Загипнотизировано я смотрела, как и он, поверх его плеча на Волгу и Жигулевские горы в туманной дымке. День, серый и спокойный, как нельзя лучше резонировал с нашим настроением. Перистые облака, тонким слоем размытые по небу высотным ветром, оставались неподвижными. Казалось, что травы уснули в ожидании поздней осени и близкой зимы. На тонкой ветке березы сидела маленькая птичка, попискивала, вертела хвостом и вдруг сорвалась, полетела. А ветка про-

должала качаться, сохраняя ее динамические, что ли, следы пребывания. Амплитуда движения уменьшалась, пока ветка не замерла, но еще некоторое время я не могла отвести взгляд от нее. Подошла официантка, собирающая грязную посуду, и спросила, не хотим ли мы еще чего-нибудь?

— Да-да, — вздрогнула от неожиданности я, — еще два кофе, — вдруг добавила, вдохновленная идеей угостить им странного товарища по трансу.

Слегка пододвинув чашку с дымящимся, обжигающим кофе с сахаром поближе к нему, я осторожно спросила:

— Будете? Согрейтесь, становится прохладно.

Он снял очки, открыв темные, слегка раскосые глаза, неуловимо знакомые, улыбнулся и кивнул головой:

— Спасибо.

Я немного заволновалась — где-то и когда-то я его определенно видала и даже знала. Но где и когда? Мне стало неловко от мысли, что он-то меня помнит и рассчитывает на узнавание, и это будет нелепо, если я сейчас начну расспрашивать его, кто он такой и почему он мне кажется знакомым. Тогда становилось непонятным, почему он так долго сидел молча, не поздоровавшись, не начав первым разговор? Я решила придерживаться тактики затягивания момента узнавания, надеясь косвенными вопросами, осторожными и невинными, дать себе возможность вспомнить этого человека.

— Хотите еще печенья? — задала я вопрос довольно дурацкий, учитывая, что я женщина, а он мужчина, который вроде бы и должен меня угощать, такие уж у нас стереотипы. Но кто кому должен в этой ситуации, я не знала. Никто и никому. Мне просто хотелось его задержать подольше за столиком.

Он опять улыбнулся и покачал головой:

— Вы меня помните? — вдруг он сам спросил меня, и его голос, тихий, почти шепчущий, отбросил меня на восемь лет назад, в заводское общежитие, где мы с мужем, тогда

молодым специалистом, жили несколько лет в окружении таких же семейных пар, работавших на заводе.

— Да, я помню, мы были знакомы когда-то. Вы жили в общежитии, как и мы. Но запомнила, как вас зовут.

— Альберт, — так же тихо ответил он, снова надевая очки. Его ответ прозвучал так тихо, как шелест ветвей при легком порыве ветра. Что-то птичье промелькнуло в его лице. Он был похож на худого ворона, обреченно осознавшего свою птичью долю быть вечным странником в пустынном небе над голой землей.

Картинки восьмилетней давности все четче вставали перед моими глазами. Мы с Кириллом почти не общались с этой молодой парой, не считая реплик на общей кухне. Они были упоены собственным счастьем. Недавно поженившись, Альберт и его жена всегда были вместе. Даже на кухне, обнявшись, они по очереди мешали сложные, приправленные пряностями овощные блюда ложкой, не обращая внимания на соседей, слегка и по-доброму посмеивающимися над сладкой парочкой. Медовый месяц в общежитии ничем не отличается от него же на Мальдивах и Канарах. Банальное «с милым рай в шалаше» как нельзя лучше иллюстрировало происходящее. Сколько же им было тогда лет? Примерно двадцать четыре-двадцать пять. Сейчас ему должно быть около тридцати трех, но выглядел он моложе своих лет. Хорошо же он сохранился. Мне на пять лет больше, с легкой грустью отметила я. Ну и что? Неужели нельзя просто пообщаться двум одиноким людям? Но почему я подумала, что он одинок?

— Где же ваша жена? — спросила я, рассчитывая подтвердить или опровергнуть мою догадку.

Альберт отставил чашку и отвернулся от моего лица. Его внимание снова привлекло что-то мне невидимое за моим плечом. Тягостное молчание повисло в воздухе. Лицо стало еще отрешеннее и, как мне показалось, строже. Как

будто я затронула в разговоре запретную тему. Ни слова про жену, сразу же решила я, испугавшись, что мои нетактичные вопросы отпугнут Альберта. Мы снова долго не произносили ни слова. Я мучительно искала тему, которая могла бы помочь преодолеть это затянувшееся безмолвие, которое я оправдывала про себя: конечно, он имеет полное право не отвечать на мои вопросы. Как, не показавшись навязчивой, все же продолжить это едва наметившееся полужнакомство-полупризнание?

Помешав пластмассовой палочкой в чашке, взболтав со дна сладкий слой кофе, я допила остывший напиток и решила внести некоторую определенность:

— А мы с мужем развелись два года тому назад.

Альберт перевел взгляд на мое лицо. Выражение его глаз, скрытое очками, не давало понять, что он может сейчас чувствовать. Бледность кожи и запавшие щеки намекали о пережитых страданиях. Он татарин, вдруг вспомнила я, из Узбекистана. Из Коканда. Его тонкие усы и элегантная бородка казались перенесенными с персидских миниатюр. Узбекско-татарский принц в изгнании. Ему бы в руки старинную рукопись Низами или древние страницы с изречениями из Корана. Альберт стал нервно потирать кончики пальцев, которые как будто противоречили бесстрастному выражению лица, мягко улыбнулся и так же тихо, как все предыдущее сказанное, произнес:

— Извините, мне надо уйти, — и, выдержав паузу, добавил. — Я здесь часто бываю по вечерам.

Отодвинув стул, мужчина отстраненно поднялся и пошел в направлении автобусной остановки. Порыв ветра в тот же миг обдал меня холодом, на стол упал желтый лист березы. Я не смотрела Альберту вслед, рассматривая прожилки на листочке, а потом внезапно заметила под столом в траве клочок бумаги, свернутый в трубочку, который вертел в руках Альберт. С любопытством детектива я подняла

его и развернула. Это был номер телефона. Обычно несколько такие лепестки нарезают снизу объявления для удобства заинтересовавшихся людей. Забыл, подумала я, но не стала предпринимать суетливых попыток догнать Альберта. Я сообразила, что этот клочок сможет стать поводом к разговору, если он сможет состояться. Правда, Альберт показался мне весьма неразговорчивым. Не таким он мне запомнился по общежитию. Тогда он казался легким, воздушным, улыбчивым парнем. Белые зубы сверкали из-под черных усов, а маленькие мимические морщинки около глаз указывали на его смешливость или насмешливость.

В тот год мы с мужем тоже были счастливы и любовь другой пары не вызывала ни ревности, ни зависти, как это бывает иногда. Встретившись два года назад, мы все еще не утратили свежести ощущений и спали, крепко обнявшись. По выходным собирали общежитские запасы еды и ехали в гости к друзьям на дачу в деревню. Деревенский воздух, нехитрые грядки моркови и салата, сон в летнем домике, костер и почему-то летучие мыши над ним, лай собак прочищал уши и глаза, за неделю наполнившиеся городским шумом. На следующий день мы возвращались домой тихие и посвежевшие, как полевые цветочки. Ничего не омрачало нашего существования.

Я взяла в руки березовый лист, как напоминание об Альберте, и подумала, что неплохо бы еще посидеть здесь, подумать о новом странном знакомом. Отодвинув пустые чашки в сторону, я заметила, что кофе в чашке Альберта остался нетронутым. Холодный и непривлекательный в своей остывшеести, он мелко дрожал под порывами ветра, ребристый от микроволн.

Весь оставшийся вечер я провела под впечатлением встречи с Альбертом. Я не заглядывала в электронный ящик, не включала телевизор, не читала книг, дабы не испортить впечатление, произведенное на меня. Состояние сна,

спокойного и загадочного, не покидало меня. Я строила беспокойные предположения, что за эти восемь прошедших лет произошло с ним трагичное, что могло объединить нас. У меня — развод. У него, возможно, тоже, и это, признаться, радовало. Я поздравляла себя с тем, что почти не проявила суетливость и излишнюю заинтересованность в Альберте, что произнесла мало слов, которые не внесли в нашу встречу шума и чрезмерной осведомленности друг о друге. Вот кофе, который я купила ему, мог быть спорным предметом. Настолько ли необходимо было покупать его? Дать понять мужчине, что дама готова потратиться во имя знакомства с ним — не рискованный ли это шаг? В следующий раз он и не подумает поделиться со мной капиталами, призванными украсить нашу встречу. Подумает, что мне так естественно воспринимать, что у него нет денег. А то, что он не богат, мне это сразу пришло в голову. Вид Альберта не предполагал крупных пачек купюр в кармане или даже слегка набитого кошелька медью и никелевым сплавом.

Деньги — это был на тот момент вопрос болезненный. Лишенная финансовой поддержки мужа, я влачила довольно жалкое существование на зарплату библиотекаря. С трудом хватало на оплату квартиры, кашу и чай, редкие подарки себе в виде мороженого и чашки кофе и совсем редко — новых колготок. Новый-старый знакомый, готовый трескать кофе за мой счет, в процессе размышлений о презренном металле, вдруг немного лишился той прелестной ауры, которую успел приобрести. Меркантильность, присущая, по мнению одного моего знакомого, всем женщинам, в крайне усеченной мере присущая и мне, немного приподняла голову и нашептала мне разумные советы, один из которых был таким — он не годится в качестве мужа тебе, матушка.

Я включила свет, взяла с полки книгу, дабы отвлечься и не предаваться мечтам о новых встречах с Альбертом. Но книга выпала из рук, так как крошки рациональности

немедленно уступили место романтике и чувствам. Скорее чувственности. Я вспомнила, какой красивый рот у него — маленький, с немного тонкими, чуть искривленными губами. «Истеричка», — говорил Кирилл про искривленные губы или кривой нос, комментируя достоинства и недостатки женщин. Неужели он истерик? Не похоже. Истерики кривляются, встают в картинные позы, говорят без умолку или нагоняют неестественное молчание, если сказать ничего не могут. Истеричек я знала. Не помню, чтобы у них были кривые губы. Тонкие и неприятно сжатые — были. У Альберта же они не то, что были кривые, сколько змеились изредка в улыбке. Улыбке, которую я заметила за все время встречи два или три раза.

Номер телефона, выпавший из рук Альберта, я аккуратно развернула и положила между страницами записной книжки. Может быть, это был его телефон и неслучайно он выпал из его рук, призванный восстановить нашу связь, если мы затеряемся в пространстве и времени? Тогда тем более мы должны с ним встретиться снова.

Я поняла, что встреча с Альбертом оказалась наиболее волнующей из всех тех, которые у меня за полгода состоялись благодаря сайту знакомств. Интереснее и заманчивей, чем все длительные и многочисленные переписки там же, на сайте. Нами было сказано друг другу всего несколько фраз, малоинформативных. Но то, что не хватает в переписке, пускай с фотографиями — движение, запахи, интонации, реальные цвета, не искаженные расстоянием и техникой, обстоятельства места, времени и погоды, эманации и, в конце концов, ферромоны с лихвой восполнили лакуны, провалы и пробелы произнесенного и неслышанного.

Я посмотрела на часы и ужаснулась — три часа ночи! Мечты меня уведут далеко, но завтра на работу, как всегда, к девяти. Пришлось выпить седативное, чтобы немного успокоить разыгравшееся воображения и уснуть.



Утро субботы началось с тумана и приходом бабьего лета. Упавшие ночью на дорожку бордовые кленовые листья мягко шуршали под туфлями. Пылающие цветы бархатцев, пастельно-ультрамариновые астры вдыхали острый воздух осени. Настроение, такое же, как и осенние листья, нежное и хрупкое, не покидало меня все дни до субботы. Я вспоминала Альберта, останавливая себя в немедленном желании бежать на набережную, чтобы увидеть его. Это поспешно, тормозила я себя, и неразумно. Кристаллизация влюбленности, которая по расчетам неглупого в этих делах Стендаля, не должна еще завершиться. Десять дней — такой срок он советовал выдержать в подобных случаях. Прошло же пять дней. Но, кажется, кристаллизация моей влюбленности произошла сразу в первый же день. Оставалось надеяться, что Альберт, если не влюбился в меня, но хотя бы мимолетно вспоминал нашу встречу. И, кто знает, вспоминая меня, не исключал, что встречу стоит повторить или хотя бы не избегать ее. Едва дождавшись выходного дня, наскоро позавтракав, натянув на себя летние брюки и летнюю же цветастую блузку, накинув вязаное пальто, я понеслась в кафе на берегу Волги.

Официанты вяло сидели у стойки. Народ еще отсыпался и обслуживать было некого. Рано пришла, с досадой я отметила про себя. Что делать? Идти домой? Но если он придет раньше, то тогда у нас будет больше времени для общения. Может быть, мы погуляем по берегу. Туда я и отправилась в смутном ожидании. Я в одиночестве бродила вдоль края воды, рассматривая следы чаек и собак на мокром песке. Многочисленные паутинки неслись по воздуху. Интересно, куда эти паучки, прицепившиеся к своему липкому средству передвижения, летели? Как птицы, на юг? Или расширяли ареал своего обитания, уменьшая вероятность кровосмесительных связей, укрепляя тем самым крепость, многочисленность и устойчивость своего вида. Жили-жили

все лето на своем родном пригорке, и вот пришло настроенные перемены мест, на зиму глядя. Странно это и загадочно, как многое на свете, что и не снилось тем самым шекспировским мудрецам.

Я дошла по берегу до заградительной стены частного владения и стала подниматься по склону вверх. Раньше я никогда не была в этом месте и не могла сразу сориентироваться, в каком направлении осталось кафе. Пойдя наугад без тропинки, я пробиралась между трав, где краснели ягоды ландыша и зарослей бересклета. Паутина и семена неизвестной травы с колючками оставалась на брюках и длинном трикотажном пальто. Выйдя на тропинку, ведущую на набережную, я с облегчением стала выдергивать из одежды колючки, обильно облепившие меня. Дойдя до столиков, я продолжала это занятие, когда за столик уселся Альберт. Я не заметила, как он подошел.

Я заулыбалась подобно звезде Голливуда, но улыбка моя, в отличие от фальшивой голливудской, была по-славянски искренняя. Удивительно, но оказывается, сама того не подозревая, я к нему успела привыкнуть. Или к моим мыслям о нем. За шесть дней он стал персонажем моей жизни, учитывая, что персонажей в ней было человек раз-два, и обчелся.

— Я сейчас, — забормотав, суетливо я кинулась к стойке и заказала два чая с медом и пиццу, забыв свои расчеты по поводу безденежных мужчин.

— Будете чай с медом? — радостно спросила я Альберта, который задумчиво катал в пальцах опять какую-то бумажку, подозрительно похожую на предыдущую. Услышав мои слова, он быстро поднял на меня глаза в очках, и его лицо скривила испуганная гримаса.

— Нет! — довольно резко сказал он.

Я растерялась.

— А пиццу? — пролепетала я.

— Извини, Анна, не хочу, — уже спокойно ответил он.

Ну, как хочет, или как не хочет, подумала я. А я с утра проголодалась. И, вообще, когда я нервничаю, я ем. А я нервничала? Пожалуй, что так. Его отказ от чая и пиццы показался мне враждебным знаком. Я, обложившись чашками, молчала и жевала пиццу, вкус которой не могла разобрать. Да, интересный и оптимистичный момент — он помнит, как меня зовут. Я воспрянула духом и заговорила о погоде:

— Бабье лето настало. Я его люблю. Вообще, лето у меня прошло плохо — никуда не съездила, — и чуть не ляпнула, что ни с кем не познакомилась. Альберт молчал, спрятав руки в карманы. Это молчание начинало меня тяготить. Особенно в такой день, когда светило солнце, мужчина пришел на свидание и выглядела я сегодня очень даже неплохо: с вымытой головой, в летнем песочного цвета пальто и мягких любимых туфлях, тоже летних. Хотелось разговаривать, гулять и даже целоваться. А мужчина молчит, и вообще, непонятно, чего он дожидается?

Дожевав в гробовом молчании пиццу, я решительно встала и предложила прогуляться по набережной. Альберт поднялся со стула и, не оглядываясь, медленно, явно дожидаясь меня, пошел в сторону реки. Я пристроилась рядом, и так мы дошли до соснового леса на берегу. Говорильное настроение улетучилось к тому времени, когда вдруг Альберт, не останавливаясь и не сбавляя темпа, как будто даже не мне, а куда-то вдаль, сказал:

— Моя жена умерла.

Я, закашлявшись от неожиданности, замешкалась и переспросила:

— Умерла?

— В автомобильной катастрофе. Давно уже. Или недавно, я не помню.

Мы присели на песок, успевший прогреться на осеннем солнце. Так вот оно что... Тогда понятен его ступор, затяж-

ное молчание и меланхолия. Мне стало даже стыдно за то, что я размечталась о каких-то поцелуях и романтике. Человек в трауре, тоскует о жене, а я... И сама вспомнила про свои горести и печали, про свое одиночество, которое преследовало меня всю жизнь, как мне показалось в тот момент, невезучесть в личной жизни...

— Мы с ней ехали за медом и на перекрестке на нашу машину налетела фура.

Вот тебе, бабушка, и чай с медом! Я-то еще и в раздражение почти впала. А человека только одно упоминание о меде заставляет думать о трагедии и смерти. Мне стало так его жаль, так захотелось ему помочь, что я, прикоснувшись к рукаву его плаща, как бы слегка погладив, сказала:

— Сожалею, Альберт. Это тяжело потерять любимого человека. Мне бы хотелось тебе чем-нибудь помочь. Я смогу как-то это сделать? — Перешла я на «ты», почувствовав к нему близость.

Меня захватила волна сочувствия к этому человеку, необходимости какого-то немедленного действия, способного облегчить его состояние. От жалости даже защипало глаза. Меня прорвало и я рассказала, что происходило со мной в последние два года. О своей ненависти к мужу, сбежавшему к молодой жене. О навязчивых мыслях, что я была в чем-то не права и не могла понять его до конца. Рассказала о моем страхе одиночества, о моей неспособности родить ребенка и многом таком, что тяготило меня и не могло быть открыто кому-то другому. Даже единственной подруге, у которой все было в порядке — муж, двое детей и даже любовник. Альберт терпеливо слушал, изредка бросая на меня внимательные взгляды. Под конец моего длинного, взволнованного монолога мы присели на поваленную сосну. Альберт протянул мне маленький букетик из цветов пижмы, лесной рябинки. Он понимал меня, как мне казалось. Впервые за два года мне стало по-на-

стоящему легко — я почувствовала рядом, наконец, близкую душу. Не говоря ни слова, Альберт собрал несколько сухих веток и разжег рядом с бревном небольшой костер. Потрескивая, костер сам как будто разговаривал, договаривая несказанное мной.

С букетиком я села в троллейбус и поехала домой. Альберт проводил меня только до остановки. Наверное, он ждал другой автобус или маршрутку. Чувства, переполнявшие меня, напоминали тепло того самого костра, который прогорел на берегу Волги. Как будто растаял лед в сердце, о существовании которого я, похоже, и не догадывалась. В окно троллейбуса я видела начало золотой осени: березы в ярко-лимонных листьях, красные японистые клены, тяжелые налитые соком гроздья рябин, прояснившееся голубое небо над ними. Это было началом другой жизни, сулившей что-то ясное и чистое, как этот осенний, настоящий на вялых листьях, воздух сентября.

В воскресенье меня нагрузили работой, что вошло уже в привычку у старшего библиотекаря, ибо я никогда не отказывалась от подработки, не желая весь день проводить дома в одиночестве. Итак, воскресенье я провела в библиотеке, радуясь этому обстоятельству. Иначе бы я не выдержала и побежала бы на набережную. А мне все же не хотелось выглядеть влюбленной кошкой с горящими глазами. Как это бывает смешно и глупо, я помнила. Один товарищ из интернета влюбился в меня, неосторожно встретившись со мной у меня дома. Мы с ним только говорили, и еще я приготовила экспериментальные пирожки с мясом и рисом и закармливала ими моего забавного гостя. Пожирая меня глазами, он скромно сообщил, что он обладает экстрасенсорными данными и может лечить людей. А еще он может починить мой компьютер, который по ветхости доживал последние дни. Компьютер он действительно починил.

Но ни технические таланты, ни экстрасенсорика его не спасали, он упорно не замечал, что не вызывает у меня ответных восторженных или хотя бы благосклонных чувств. Его страстные письма и даже доморощенные стихи, которые он стал срочно сочинять, возбуждали, увы, только смех и вызывали все более растущую неприязнь. Так вот, я бы не хотела выглядеть как этот неудачливый поклонник.

И еще был один плюс в воскресных бдениях на работе — именно по воскресеньям я могла беспрепятственно сидеть в интернете часами, заполняя свое одиночество виртуальным общением. Но сегодня этого не хотелось. Что-то настоящее, живое вошло в мою жизнь, с чем виртуальный призрачный мир не мог сравниться. Я воображала, как и где жил Альберт. Наверняка, один в маленькой квартирке, окруженный пыльными предметами, которые протирать не хочется — он же в депрессии. Наверняка, это у него далеко зашло — он не гладит одежду и даже, наверное, ее не стирает. Хотя никаких неприятных запахов, которые могли бы выдать эти привычки, я не заметила у Альберта. Наоборот, от него исходил едва заметный запах каких-то цветов. И как будто бы запах старых книг со слежавшимися страницами, переложенными сухими листьями, запах гербария.

С Альбертом, как я вспоминала, удобно устроившись дома в тяжелом старом кресле, мне спокойно. Так, как никогда не было ни с кем. С ним не хотелось куда-то бежать, чего-то добиваться, улучшать то, что есть. Именно это мне предъявлял муж, обвиняя меня в вечном недовольстве. Я была недовольна его зарплатой, его внешним видом, недовольна своей работой и коллегами. Это было так, по его словам. Я бы выразила все это по-другому: мне всегда хотелось большего, манило неизведанное, притягивало то, что за горизонтом, хотелось бежать в неведомые дали. Вот я и пробегала мимо людей и ландшафтов, мимо возможностей здесь и сейчас, тянуло всегда туда, где меня нет. Каза-

лось, что завтра и в другом месте будет лучше, а на другом берегу — трава зеленее. Но ведь так оно и могло быть! Всегда хотелось чего-то такого, что сделало бы меня еще более счастливой. И вот я осталась одна. Что же, теперь меня потянуло в прошлое? «...Беспокойная я, успокой ты меня...» Удивительно было то, что просто существование Альберта меня успокаивало, как успокаивало волны безветрие, как снег успокаивал травы и деревья, как сон успокаивал больного человека.

Про сон-то я вспомнила не зря. Этот сон я рассказала Альберту в следующую субботу, когда мы встретились с ним на том же месте. Сидя на нашем бревне, мы снова подкладывали в костер ветви, наблюдая за дымом и языками пламени. Альберт молчал и слушал мой рассказ. Мне приснилось, что я карабкаюсь по глинистым склонам вверх. Я знаю, что несколько таких склонов я уже преодолела, но в это раз я срываюсь на самом верху и скатываюсь вниз на площадку. Беру лопату и выкапываю ступени, по которым собираюсь залезть наверх и лезть дальше и дальше по очередным площадкам и склонам. Куда-то вверх, за клубящиеся облака. Но, прокопав несколько ступенек, бросаю это дело и осматриваюсь по сторонам. Я никогда не разглядывала площадки, через которые проходила в своем стремлении забраться все выше и выше. Просто немного отдыхала и рвалась вверх. А сейчас что-то произошло. У меня нет больше сил. И тут я понимаю во сне, что я умерла. Но это обстоятельство меня почему-то не сильно огорчило, а всего лишь породило легкую печаль, такую, какую я чувствую иногда и в жизни в связи с куда менее трагичными событиями. Я начинаю замечать низкорослую траву, растущую у склона, тени людей и, наконец, Альберта. Как он здесь появился? Неужели он тоже умер? Меня охватывает страх и жалость к нему. Я спрашиваю, что он делал в последнее время. Он отвечает, вспоминая с трудом, что куда-то бежал,

упал и ударился головой. Я понимаю, что, ударившись головой, он умер. Я обнимаю его и пытаюсь, как ребенка, отвлечь, рассмешить. Здесь можно жить, говорю я. Я просто не знала, что и здесь можно жить. Иначе бы я перестала карабкаться наверх. Что там вверху? Не знаю. На последней площадке, где-то там далеко за облаками, где дует пронзительный ветер и беспощадно сияет солнце, нет ничего. Ничего такого, за что бы стоило отдавать свою жизнь, тратить ее на крысиные бега и попытки забраться все выше и дальше. Так зачем мне туда карабкаться, когда я поняла, что нет смысла в моем героическом восхождении. Вероятно, когда-то он был. Я чувствовала, что с каждым рывком вверх мне становилось все лучше и лучше, и там наверху что-то меня ждет. Что же ждало меня там когда-то? Кажется, это что-то было запрограммировано во мне мамой, которая всю жизнь мечтала о... богатстве, нестерпимом блеске на придуманной ей фантастической вершине. И вот теперь, во сне, я остановила свой бесконечный бег. Посмотрела вокруг и поняла — вот оно то, что я искала. Оно уже здесь, только надо присмотреться. Так бежишь мимо скромного и неяркого, останавливая взгляд на кричащем, ярком; мимо чистой воды, припадая к пряным рассолам жизни, после которых еще больше распаляется жажда. Вечная жажда, вечная неутоленность, которая в юности воспринимается как движение и жизнь, а после определенного рубежа как дурная бесконечность.

Рассказав Альберту свой сон и толкование его, я увидела, что он напрягся. В его движениях появилось беспокойство. Он порывался что-то сказать и не говорил. Наконец, он произнес глухо и безжизненно:

— Вся жизнь есть сон.

Я читала эти слова в другом месте. Моя прежняя жизнь сейчас показалась мне сном. Но теперь я почувствовала дыхание другой жизни — жизни, за которую не надо бо-



роться. Она уже со мной, лежит в моей ладони, как та самая синица в руке, живая, мягкая, с бьющимся сердечком, попискивает и поглядывает круглым черным глазком.

Вдруг Альберт поднялся и, не говоря ни слова, спустился по склону вниз и быстро пошел по берегу, все дальше удаляясь от меня. Я в недоумении смотрела ему вслед. Машинально нагнувшись к траве, я подняла какую-то бу-мажку, выпавшую из кармана плаща Альберта — это был точно такой же листок с телефоном, какой я подобрала под столиком в кафе. Это что, знак? Позвонить ему по этому телефону и что-то прояснится? Хорошо, я позвоню.

Я звонила весь день и вечер. Никто не брал трубку. Тогда я решила обсудить ситуацию со Светой. Она женщина опытная, к тому же работала в социальном центре с неблагополучными детьми. Психология нездоровья была ей знакома не понаслышке. А кто тут был нездоров, я или Альберт, я не понимала.

— Опять сирый и убогий! — выслушав меня, Светка засмеялась. Да, была у меня склонность симпатизировать неприкаянным мужчинам. То ли чувствовала, что других я не заинтересую, то ли другие сами так часто себя вели, что не хотелось с ними долго разговаривать. Слабые, незащитные на вид были не избалованы вниманием и ценили его, как мне мерещилось. Собственно, случай с Альбертом это подтверждал.

— Ты, конечно же, жалеешь его, считаешь его проблемы вашими общими? — Строго вопрошала она.

— Вовсе нет, — защищалась я, — это он выслушивает меня и вникает в мои проблемы. Но признаюсь, мне его жаль.

— Не надо его жалеть. Он сам выбрал печалиться и горевать. Его депрессия — способ избежать решения собственных проблем. Не вздумай расспрашивать его о бывшей жене. Они, по твоим словам, любили друг друга. Но

кто его знает. А вдруг это он сам толкнул ее под машину. Рассказывая о ней, он невольно перенесет свои чувства на тебя и тоже может возненавидеть и толкнуть тебя, например, под поезд.

— Он ничего, к сожалению, не рассказывает ни о ней, ни о себе. Молчит, знаешь ли. Но рядом с ним мне так хорошо, так спокойно. Было. И вот он убежал. Наверное, я слишком много говорила.

— Да уж, наверняка. Ты все же его выводи на разговор. А вдруг он вообще маньяк или психопат какой. Их много, между прочим. Сначала тихие-тихие, а потом как накинута и проткнут вилкой. Два удара — восемь дырок!

— Да ну тебя, Светка. Никой он не психопат. Просто человек грустит и немного в ступоре от пережитого, — упрямилась я.

— Анютка, я тебя предупредила. Мужчина должен быть если не очень состоятелен, то, как минимум, в может угостить даму кофе. Что ты с ним потом будешь делать — кормить всю жизнь?

— Но я же не хочу за него немедленно замуж. Просто приятно провожу время. С ним, как это тебе ни странно слышать, интересно! — защищала я свой странный выбор. — А что, нельзя уж и пообщаться с женщиной, если он не годится в мужья?

— Можно, если ты контролируешь себя и не влюбляешься в такого, как бы это мягче сказать... пенька. По крайней мере, не спи с ним, а то влюбишься точно, я тебя знаю.

Я себя тоже узнала. С теми двумя, что я успела переспать, ничего хорошего и не сулилось. Я сразу видела, что не мои они люди. Но от отчаяния и желания проверить кое-какие идеи на их счет, я это сделала. В общем, сожалела, что переспала с ними. А с Альбертом, я точно знала, все будет как нельзя лучше. Это же сразу видно и понятно. Флюиды...

— Я не знаю, что делать. Меня несет к нему, как на крыльях.

— Дурочка, ты влюбилась, ясный пень. Так, что с этим делать?..

— Может, ничего с этим делать не надо? Мне так хорошо.

— Сейчас хорошо, а потом заплачешь.

Как она была близка в своей догадке, мудрая женщина, никто и не мог предположить. Но в жизни все случается так, как и должно было случиться. В этом я почти фаталистка. Иду навстречу своей судьбе. Альберт, несомненно, был моей судьбой. Только почему он бросает мне странные бу-мажки с телефоном, по которому никто не отвечает?

— Он просто, хм, придуток, — не сдержала критической оценки Света.

— Симпатичный придуток, — смягчила я определение.

— Тебя не переубедишь, я давно поняла. Ну, иди, учись на собственных ошибках, если меня ты слушать не хочешь. Хотя, ты права, делай, как знаешь. Твоя судьба, возможно, преподнесет сюрприз и не обязательно плохой, — смягчилась, наконец, подруга.

Добившись, чего хотела, хотя бы косвенного одобрения, я через два дня, не вытерпев, вечером отправилась на возможное свидание. Темный и такой знакомый силуэт, ставший родным и близким, я заметила издалека. Альберт неподвижно сидел на бревне, глядя на Волгу.

— Привет, это я. Я подумала, что ты, возможно, гуляешь и решила тебя увидеть, — не скрывая радости, воскликнула я.

Альберт, как повелось, ничего не ответил. Обернувшись, он знаком предложит мне присесть рядом.

— Я соскучилась по тебе, это даже странно, — начала я разговор. — Мне кажется, что ты меня понимаешь. И мне хотелось бы понять тебя, стать тебе ближе. Почему ты гуля-

ешь здесь каждый день? Ты не работаешь? Ты все еще страдаешь из-за жены? Это печально, но все проходит и надо снова подумать о жизни, о новых возможностях. Посмотри, как здесь красиво! Каждый день, казалось бы, одно и то же, но меняется погода, освещение, время года, и все начинает играть другим цветом, запахи другие, настроения другие.

В этот день цветочный запах, кажется, фиалок, сладкий до приторности, сильнее обычного исходил от Альберта. На мои пламенные речи, призванные возродить его к новой жизни, он не реагировал. Может, он, ограждая себя от сильных горестных переживаний, настолько отключился от реальности, перестал ощущать вообще что-либо, не понимал меня, не хотел понять? Надо было сильно постараться, чтобы растопить его лед в сердце тем теплом, которое он подарил мне, и я не жалела слов и красок, расписывая то все прекрасное, что было и может быть в жизни.

Уже не рассчитывая на ответ, я устало замолчала. Собственный голос звенел у меня в ушах. Наверное, кое в чем Света была права. Что-то с ним не то. И вдруг он заговорил. Тихо-тихо, так, что я вынуждена была вслушиваться в каждое его слово.

— Я тоже хочу рассказать свой сон. Я видел себя на берегу озера. Весь день я пытался поймать там рыбу. В воде было совсем пусто. И только, когда солнце почти село, я увидел, что какая-то большая рыба плавает недалеко от меня. Я видел ее темную спину и плавник, слышал всплески воды. Но время ушло, наступала ночь и ловить ее было уже поздно. С сожалением я смотал удочку и пошел домой.

Я молчала, ожидая его комментариев. Альберт вопросительно посмотрел на меня, как бы приглашая сказать что-то по этому поводу. Собравшись с духом, я предположила, что рыба — это новый смысл его жизни, который (нескромно предположив про себя, что это была именно я) постепенно

стал вырисовываться для него. И надо выждать и поймать эту рыбу, то есть ухватить смысл, которым он будет жить.

Я встала и нежно положила свои руки ему на плечи. Наклонившись, поцеловала его в затылок, ощутив сладкий фиалковый запах. Он показался мне настолько возбуждающим, что дрожь пробежала по моему животу и бедрам. Казалось, он это заметил. Не поворачиваясь, он обхватил мои ноги. Я снова стала целовать его, теперь уже в шею, там, где воротник водолазки открывал смуглую кожу. Вот он, момент истины, начала ликовать я. Альберт поднялся, повернулся ко мне лицом и обнял за талию.

— Я уеду на некоторое время, — сказал он, взял ее руки и стал их внимательно рассматривать. Ногти, коротко подстриженные и слегка тронутые розовым лаком, вызвали его интерес. Я вспомнила темные полосы под его ногтями и незаметно усмехнулась.

— Какие красивые у тебя пальцы, — поглаживая их, задумчиво произнес он, при этом казалось, что думает Альберт о чем-то совсем другом.

— Куда ты едешь? — встрепенулась я, услышав печаль в голосе мужчины, непонятную в такой момент.

Он отвел руки свои и пошел к темнеющему лесу.

Прошло несколько минут, потом еще несколько. Я терпеливо ждала. Не мог же он уехать прямо сейчас! Альберта не было двадцать минут, когда я решила поискать его. Но его не было нигде. Ни за деревьями, ни в кафе, ни на автобусной остановке. Ужасно! Он просто сбежал от меня, от моих приставаний. Я не знала, плакать мне или смеяться. Какую я грубую ошибку совершила, что мужчина, явно не испытывающий ко мне неприязни, сбегает без объяснений, как от чумы? Я вспомнила, что и сегодня Альберт вертел в руках бумажку, которая выпала из пальцев, когда он стал меня обнимать. Я бегом кинулась к бревну. И хотя было уже поздно и темно, я заметила ее среди травы. Это опять

был тот же телефонный номер. Бред какой-то! Но бумажку я подняла и спрятала в карман брюк.

Только через три дня я дозвонилась по этому телефону. Голос мужчины не был похож на голос Альберта. Это был не он. Человек не знал ни Альберта, у него никогда не было даже знакомых с таким именем. Почувствовав мое волнение, он участливо спросил, не мог ли он мне чем-нибудь помочь?

— Нет, — ответила я, — вряд ли. Извините, пожалуйста.

Ни через неделю, ни через две Альберт не объявился. Я почти каждый день ездила на набережную, надеясь на встречу. Сидела на бревне, каждую минуту трепетно ожидая увидеть его силуэт, всматривалась в бредущих вдоль Волги прохожих и даже спрашивала официантов, не видели ли они на днях или сегодня такого вот мужчину? Нет, не видели. И вообще, никогда не видели. Но мало ли их здесь бродит. Хотя было странно, зная, что он здесь бывал часто.

Сначала я недоумевала, потом возмущалась, потом тосковала по нему и, наконец, решила, что мне надо его отыскать во что бы то ни стало. С любимыми не расставайтесь — так, кажется, это называется? Его сон говорил мне о какой-то безнадежности, невозможности нового счастья. Но это счастье уже было во мне, плескалось, готовое попасться на крючок рыбаку и стать его удачей. Что-то было такое, что разделяло нас. Но что может разделить людей, любящих друг друга? Он, по моему мнению, любил меня, сам того еще не зная, но, догадываясь, сбегал от этой любви, не желая еще раз впасть в зависимость от женщин, которые так легко обманывают тебя, умирая.

Решив отыскать Альберта, я с досадой сообразила, что не знаю его фамилии. Отправившись в общежитие, в котором не была уже семь с половиной лет, я с разочарованием узнала, что его заполняют конторы, а следы Альберта теря-

ются. Пересилив себя, я позвонила бывшему мужу, который был несказанно удивлен моим звонком и маниакальным желанием узнать фамилию Альберта.

— Мирзоев, — вспомнил он почти без усилий. Имена и даты застревают в его памяти надолго, почти навсегда. — А жену его звали Римма. А зачем тебе это? С тобой все в порядке?

— Поговорим позже! — Мне не терпелось найти Альберта. Но как теперь вычислить его адрес? В компьютере был телефонный справочник, где я отыскала четыре фамилии Мирзоевых и их телефоны. Ни по одному Альберт не жил. Тогда где же? Тень Шерлока Холмса пронеслась рядом и меня озарила гениальная идея. Если я не могу найти Альберта, то я смогу найти его жену. Я могла наверняка догадываться о ее местожительстве — городское кладбище.

Звучало это как-то мрачно, но я подумала, что там я его могу встретить. Почему бы и нет? Я почти ревновала Альберта к памяти его жены. Так горевать о мертвых, не видя, не замечая живых. Он наверняка пропал там, вблизи дорожного праха.

И я пошла на кладбище.

Бабье лето миновало, оставив за собой опять несбывшиеся надежды, которые должны были вот-вот свершиться. Как рыба, которая так и не попала на крючок, так ускользал Альберт из моей жизни. Моросил затяжной дождь, когда я вошла за ворота кладбища. Кресты и могилы недружелюбно намекали на бесперспективность моих поисков. Но, отбросив мрачные предчувствия, я решительно зашла в каморку сторожа и попросила найти могилу Риммы Мирзоевой. Уже почти не рассчитывая на успех предприятия, я терпеливо ожидала служителя, листающего кладбищенскую амбарную книгу в поисках клиента. Вот оно! С профессиональной гордостью сторож, бородатый мужичок, дышащий смрадным перегаром, объяснил мне местонахождение могилы.

Трепеща и озираясь, я двинулась на поиски. Недобрый покой оцепенения, казалось, липкой паутиной ложился на мое лицо. Фотографии с могил строго и скорбно смотрели на меня. Вот и ты пришла сюда, словно бы говорили они, а мы здесь давно. И никто, почти никто нас не помнит. Ты знаешь нас? Меня, старушку 1911 года рождения, прожившую восемьдесят пять лет и лежащую здесь, под слоем земли, в холоде и прахе. И ты так же будешь лежать, и никто к тебе не придет, не вспомнит. А на твоих похоронах скажет бывший муж, что вот, мол, неплохая была женщина, но его вторая жена лучше и поэтому он ушел к ней. И не придет ко мне дочь или сын, потому что их нет у меня, и внуки не придут, не принесут букетика цветов и конфет в родительский день. Мне стало так грустно, что слезы выступили на глазах. Но я пришла сюда за другим.

Недолго искала я место захоронения Риммы. Ее фотографию я узнала сразу. Веселое лицо, словно не ведающее, в каком месте оно улыбается, смотрело на меня из окошечка на каменной плите. Да, это она — Римма Мирзоева, умершая семь лет назад. С неприятным удивлением я заметила на ее могиле свежий букет фиалок, невесть откуда взявшийся осенью. Но, повернув голову в сторону соседней могилы, я просто похолодела, с ужасом увидев еще более знакомое лицо — Альберта Мирзоева! В каком-то полубоморочном состоянии я видела дату рождения и смерти Альберта — та же дата, что и у Риммы! О Боже! Волосы на моей голове зашевелились. Я, заплетаясь и спотыкаясь, поскользываясь на грязи, едва различая дорожки и тропинки между могилами, с ухажущим в груди сердцем, добежала до ворот. Боясь оглянуться, быстрым шагом дошла до дома, открыла квартиру и забралась под одеяло. Дрожь, бившая меня, казалось, как будто усиливалась. Перед глазами стояло лицо Альберта в оправе кладбищенской фотографии и букетик фиалок под ним.



Остаться одной в квартире этим вечером и ночью было невозможно. Все казалось зловещим — стуки за стеной, которые раздавались на кухне, движение занавески на окне, и вообще все предметы в квартире, затаившие какое-то страшное знание. Они все как будто источали невыразимую в звуках и внешних формах угрозу, могильным холодом веяло от них, вытягивая из меня живое тепло. Окаменев, я боялась пошевелиться. В последнем отчаянном усилии не сойти с ума, я набрала номер телефона, который Альберт или еще что там, оставил мне.

— Извините, пожалуйста. Я звонила Вам по поводу Альберта. Мне нужно с вами срочно встретиться. Мне нужна помощь, — пробормотала я, едва выговаривая, клацая зубами от страха, обуявшего меня.

Мужчина на том конце провода любезно согласился принять меня и назвал свой адрес. Я набрала номер такси и пулей выскочила из квартиры. Мне одной было страшно там оставаться. Что меня ждало там, в помеченной покойным Альбертом квартире? Такой же мертвец? Где-то там, в глубине сознания слхранялась спасительная мысль — это какая-то ошибка, фотография оказалась на той могиле по роковому недоразумению и есть последняя надежда это выяснить. Не зря же три — три! — бумажки с этим телефоном были у меня в руках.

Меня встретил на улице мужчина в теплой стеганой безрукавке, уютный как домашний пушистый кот. Он, улыбаясь, сидел на скамейке и курил. Сразу узнав меня, он встал навстречу и, заметив мое отчаянное состояние и, вероятно, странное выражение лица, поспешил помочь мне подняться к нему домой. Посадив на диван в гостиной, заботливо принес мне коньяк в рюмке и ломтик лимона.

— Это немного вас успокоит, — объяснил он. Меня не нужно было долго уговаривать, я сама этого хотела — успокоиться. Коньяк действительно немного расслабил и

дрожь тела унялась. Мужчина, представившись Сергеем, вопросительно смотрел на меня, вероятно, ожидая объяснений. Путано и неясно я объяснила, что у меня нет никого, а дома я сегодня ночевать не могу, — мне и там очень страшно. Не мог ли он приютить меня на ночь, принимая все мои извинения за неудобства?

Из комнаты вышел мальчик лет десяти, щурясь в свете лампы:

— Папа, кто это? — спросило дитя.

— Малыш, спи, все в порядке. Это моя знакомая, она сегодня у нас переночует.

Мальчик послушался его. А я без сил упала на диванную подушку и почти сразу провалилась в сон.

Я не стала Сергеем объяснять, откуда у меня взялся номер его телефона. Это выглядело бы неправдоподобно. Несколько лет назад он продавал мед с собственной маленькой пасеки на даче. Он расклеивал по городу объявления о его продаже, нарезая лепестки с номером снизу. Бедные Альберт и Римма, — они ехали за медом, а нашли смерть. Я стараюсь об Альберте не вспоминать. Засохшую пижму я выбросила, кафе на набережной обхожу стороной, а на кладбище я не хожу ни одна, ни с моим вторым мужем Сергеем и приемным сыном. У меня с ними теплые отношения, мы нужны друг другу. От моей семьи не оторвет меня ни будущее, ни прошлое. Дни мои с ними проходят незаметно и плавно перетекают из настоящего в настоящее.

Теперь я не одна и знаю, что и после смерти одна не останусь, что ко мне обязательно придут и поставят под моей фотографией букетик фиалок. Их запах волнует меня до сих пор. Иногда я задумываюсь о смысле всего произошедшего и не нахожу вразумительных ответов...



## *Маленькая китайская новость*

Поздно вечером из подъезда дома вышел человек в сером пальто и вязаной шапочке, надвинутой на глаза. Он огляделся и быстро пошел в сторону автобусной остановки. Сел в первый подъехавший автобус и навсегда исчез из нашего рассказа. Исчез для нас и для его жены Марфы Степановны.

Марфой Степановной она была для учеников в художественной школе. Для мужа — Марфушей, для сына пяти лет — мамусиком.

Утром она встала в девять часов. Заварила зеленый чай «из двух верхних листочков» в фарфоровом китайском чайнике с нарисованным на его белых полупрозрачных боках черной тушью пейзажем «горы и воды».

Сижу над рекой  
и слежу за волной:  
взметнется, плеснет  
и проносится мимо.  
А горы на западе  
неколебимы.  
Спускаюсь к воде я с простою удой —  
и в душу нисходит покой.

Она долго пила чай теплого желтого цвета из маленькой стеклянной чашечки, с плававшими внутри несколькими крупными размокшими чайинками и смотрела в окно. Декабрь, сухой и почти бесснежный. Прохожие деловито перемещались по своим делам, и мало им было дела до того, что какая-то маленькая смуглая с длинной косой женщина смотрела на них с высоты своего этажа.

Разбудила сына, который, прижмуриваясь, как котенок, ворочался в теплой кровати и не хотел вставать.

— А где папа? — первый вопрос, с которым он начал день.

— На работу ушел, Пупсик, — она действительно так думала. И мы еще не знаем, было это так или нет. Его могли послать далеко на окраину города и там, поселив в вагончике строителей, задержать на несколько дней или даже недель. В таких случаях он редко приходил домой — только посмотреть на сына, помыться и взять книги. Но, может быть, он ушел из дома, чтобы «побрести по Руси с котомкой за плечами», как он уже давно обещал сделать. Не со зла обещал — так он делал время от времени. Летом мог уйти с палаткой в горы и жить там один неделю. Зимой уезжал в деревню к однокурснику, где любил колоть дрова и топить печь. Марфуша в компанию с ним уже не напрашивалась, убедившись, что ему нужно побыть одному. Потом он ей рассказывал, что видел и понял в своих одиноких странствиях.

Пупсик выпил кефир, капризничая, оделся и был провожден в детский сад. Марфуша вернулась домой. Детская комната, общая комната и кухня — пространство жизни молодой женщины. Отгородив треть комнаты, Игорь сколотил из деревянных реек сооружение, которое было названо гардеробом. Марфуша покрасила полки белой прозрачной морилкой (которой покрыла двери, подоконники и рамы в квартире) и, прицепив сверху две лыжных бамбуковых палки, подвесила несколько кусков холста от потолка до пола. Этот занавес полностью прикрывал внутренности этого шкафа, где громоздились коробки с ветошью, одежда, белье, старая печатная машинка, сломанные игрушки, велосипед, пупсикова ванночка, старые пластинки и еще много всякого хлама, с которым муж не хотел расставаться.

Остальную часть комнаты занимал большой стол, на котором Марфуша рисовала. Тахта, покрытая бабушкиным вязаным покрывалом, пара табуреток и книжные полки, заваленные бесконечными книгами, журналами, папками, рулонами цветной и белой бумаги. Был и маленький телевизор. На стенах висели рисунки Марфуши и Пупсика. На полу лежал иранский ковер с маленькими синими всадниками на красных лошадках, приданое Марфуши. Ковер полностью застилал комнату, мягко скрадывал шаги и был таким надежным и теплым, что Марфуша часто спала на нем. Дом их был продолжением самих хозяев, мягко укутывал и обволакивал их, как будто отец и мать. Для Марфуши квартира была если не крепостью, то маленьким укреплением на поле военных действий. На войну ходил Игорь, а Марфуша отсиживалась дома.

Сделать из бедности эстетику — занятие не ей придуманное, но оно занимает время и воображение, тренирует чувство минимализма и строгих пропорций. Это способствует тому, что в последние времена она начинала себя ощущать легче и свободнее, нежели за несколько прошед-

ших лет. Наконец-то, она смирилась с мыслью, что никому по большому счету не нужна (Пупсику пока, разве), кроме самой себя. С одной стороны эта ощущение всегда ее пугало, и она бросалась на поиски мудрых, верных товарищей, которые пособят. Ха! Сейчас же Марфуша чувствовала себя бедуином в пустыне. Вот ее верблюд, рюкзак с водой и провизией, ее знание ночного неба и повадок пустынных животных. Она и Бог, она и мир — и между ними — никого. И она хотела жить, идти по пескам от оазиса к оазису, надеяться на интересные встречи, опасные явления, внезапные наслаждения и ощущать постоянную радость от собственных сил, от устойчивого положения на земле.

На ложе из тэна за пологом тонким,  
Проснувшись, встречаю рождение дня.  
Да разве возможно поведать словами  
О том, что терзает и мучит меня!

Из яшмы курильница за ночь остыла,  
Дымок ароматный исчез без следа.  
Так чувства мои, что бурлили когда-то,  
Теперь словно в заводи тихой вода...

Курильница... Действительно была и курильница, от которой Марфуша в конце концов все же отказалась. Запах ароматических палочек всегда был с привкусом дыма, который забивал основной аромат. Тогда была слеплена из глины и обожжена в духовке чаша на трех ножках, куда Марфуша капала ароматическое масло и подогревала снизу свечей. Тяжелый запах магнолий, летний запах донника и медовый — клевера разливался по квартире, и время, как будто завязнув в нем, останавливалось. Женщина вздрагивала, если в это время звонил телефон, брала трубку и, послушав голос, что-то отвечала невпопад и клала ее обратно.

А кто звонил все же? Свекровь, которую Марфуша не видела месяцами. Она жила где-то далеко в городе и все требовала, чтобы невестка нашла себе «приличную работу». Ей было жалко своего сына, работавшего, как ей казалось, на износ. Ленивая невестка «била баклуши», а муж ее «изнемогал под бременем тяжелой работы». Эти вопросы уже давно не обговаривались. Короткими ответами «да» и «нет» Марфуша обесточивала поток слов матери мужа, и та вынуждена была, недовольно бурча, прекращать бесполезную беседу.

Но, несмотря на разницу в возрасте, это были две сложившиеся женщины. Одна всю жизнь работала юристом на заводе и не представляла, как это можно сидеть с ребенком дома, пусть даже часто болеющем. Нужно работать и тогда можно будет купить и машину, и новый диван, и съездить летом в Турцию, и есть ветчину и маслины каждый день, и одеться по моде, а не самой делать из белой бумаги абажур на лампу, не накидывать на себя бабушкину шаль, а не норковое мантио и т.д. Ни в чем другом ее просто нельзя было убедить. Да и не надо было. Другая женщина вела другую непонятную жизнь.

В деревне дни беспечны и длинны.  
Цикады дальние слышны,  
раскрывшиеся лотосы нежны,  
жужжат над ними медуницы.  
И я, как бабочка лечу...

Дни проходили легко, как пролетали бабочки-поденки. Мучительными они были, если только Марфуша оказывалась запертой болезнями своими и сына на долгие дни дома. Зимой всегда хотелось пройти по свежевывающему снегу, вдохнуть морозный воздух. Осенью — потоптать шуршащий ковер листьев, посмотреть на холодную смурную Волгу. Летом — жечь костер в лесу, идти по полю с травами.

Весной — собрать молодую крапиву около кладбища. В такие дни оставалось писать длинные письма. Такие длинные, что они не уместались в конверте. Она заворачивала письмо в цветную бумагу, скрепляла как печатью яркой самоклеящейся пленкой и просила мужа отнести письмо на почту. Письма она могла писать каждый день.

— О чем ты так помногу пишешь?! — удивлялся муж, не очень-то одобряя эпистолярные занятия жены. Но письма исправно бросал в почтовый ящик, радуясь, что так мало надо ей для счастья. Для счастья ей надо было, действительно, не много — но только свое.

В основном она писала в Израиль. Таинственным корреспондентом был фотограф и оккультист Савелий. Познакомились они случайно у кришнаитов, куда Марфуша во времена студенчества ходила подкормиться просадом, кришнаитской едой, а Савелий «чистил сердечную чакру», считая, что кришнаиты сильны не интеллектом, но душевно. Кришнаиты недолго занимали воображение их обоих и вскоре были заменены диссидентами, которые так увлекательно и таинственно собирались на тайных квартирах и чердаках. Но и диссиденты вскоре исчезли из поля внимания. А вот знакомство длилось уже почти десять лет. Савелий после того, как стал пенсионером, эмигрировал в город Нетанию и занялся, наконец, тем, о чем мечтал всю жизнь — медитировал в пустыне. Как он писал, вокруг себя он раскладывал веревку из овечьей шерсти, дабы оградить себя от скорпионов. Вообще-то он немного привирал — не сколько медитировал, сколько бродил по берегу моря, собирая ракушки, подрабатывал шофером и собирал чемоданы с улиц, не оставляя мысли когда-нибудь накопить денег и вернуться на доисторическую родину, в город Кострому.

Он присылал виды города, фотографии своего дома, песков, теней на знойных улицах, страницы городских газет на русском языке с ностальгическими стихами поэтов-эмиг-



рантов. Марфуша знала, что она никогда не поедет в те края... И от этого было грустно, но не очень. Однажды он прислал ей черное пальто, которое она долго разглядывала с недоумением, решив, что Савелий подобрал его где-то на улице, как и перья павлина, пакет с ракушками, сушеные мандаринчики, которые, если потереть друг о друга, издавали терпкий аромат.

Шлю письма на север,  
шлю письма на юг,  
среди трав и деревьев прибрежных  
теперь притулился.

Так нежные утки,  
отставши от стаи,  
теряют подруг...  
Я много бродил,  
мой домишко  
давно покосился.

Свой город вызывал двойственные чувства: архитектура ограничивалась руинными хрущобами, домами-свечками, помпезными памятниками резца Рукавишникова. В декбре, припорошенном снегом, в нем появлялась какое-то очарование. Кроме того, Марфуша часто ездила на троллейбусе на набережную. Зимой там было лучше, чем летом. Рыбаки тащили тяжелые железные приспособления, которыми бурили дырки во льду. Они ползли по заледеневшей Волге в валенках, в ватных штанах, в распущенных ушанках. Садились на деревянные ящики и часами ждали подледного клева. Издалека они казались темными птицами на белом поле. Вечером, взвалив на плечо снасти, они возвращались домой. Никогда не слышно было, чтобы они хвалились уловом. В их первобытной деятельности сквозило что-то изначально-устойчивое, независимое от времен и прави-

тельств. Марфуше казалось, что и она когда-нибудь может примкнуть к этому странному сообществу, добывая себе на обед рыбку тоненькой удочкой с извивающимся на крючке червяком, потом запекая ее в фольге с карри. Временами она внутри себя, в толще темной глубокой воды, ощущала кружение какой-то большой тяжелой рыбины, медленно и сильно взмахивающей большим хвостом, поднимающим придонный песок. Или не рыбины, а водяного дракона с тусклой зеленоватой чешуей, молчаливого и полного сжатой в упругую пружину энергии. Энергии ветра, дальней дороги в скромном русском поле и любви.

Женщина вдруг заметила, что сегодня крупные и редкие хлопья снега летят, как в замедленном кино. Снег как будто замедляет все темное, грязное, больное. Вот он летит вниз на грешную землю отчаянно, как солдаты штрафбатальона идут в последнюю атаку и гибнут, закрывая своими телами огневые точки фашистов. Или нет, как ангелы бесчисленные и бесконечные покрывают грехи человеческие. Они не умирают как солдаты, а вбирая грязь земли, становятся темной тающей водой, испаряются, очищаются и улетают на небо, свою родину.

Но пока снег падает, падает и падает — об этом не думаешь, а падаешь вместе с ним. Читаешь письма Бога на снежинках, его маленький скромный привет на каждом лучике. Океан маленьких крохотных приветов.

Ветер острей лезвия,  
Наземь снежинки легли,  
Словно из яшмы цветы,  
Брошены с высоты.  
В вихре над храмом кружат,  
Над павильоном вдали.  
Слоем покрылись густым  
Вогнутых крыш хребты.

Как же он счастлив — рыбак,  
Что предо мной на челне,  
Кутаясь в плащ травяной,  
К дому спешит, к очагу!  
Если б я мог передать  
В красках на полотне  
Этот закат над рекой!..  
Слов не найду, не могу!

Падает белый снег,  
Скрылся Чанъань в снегу.  
В лавках теперь все равно  
Подорожает вино.

Призрачный мир вокруг.  
Я не грущу ни о чем.  
Или свернуть мне с пути,  
К верному другу зайти?  
Или вниз по ручью  
Утлый направить челн,  
Плыть по течению вперед,  
Не зная тревог и забот?..

Марфуша шла в магазин и покупала курицу. Сегодня она варит лапшу. Курица — это что-то еврейское, а лапша — китайское. А вместе — что-то очень русское. Как она ее варила, рассказывать не стану. Но сварила, покормила сына и сама поела. Оделась подобно экстравагантной старушке, накинув на осеннее пальто бабушкину шаль и пошла с Пупсиком в зоопарк. Бедные звери сидели в грязных воючих клетках. Унылые и одновременно нервные. Бедные, несчастные. Но Пупсик был счастлив полюбоваться на узников и покататься на пони.

Вот и день прошел, и, слава Богу, как говаривала все та же бабушка. Осталось оформить картинку — пастель, изоб-

ражающую двух обнаженных людей, очарованных друг другом и окружающей их атмосферой в виде розово-серых пятен и линий. Завтра надо ее будет отнести на выставку. Зачем только, непонятно. Все равно не купят. Но надо ведь изредка на людей посмотреть и себя показать. Бывало, что и на самом деле что-то покупали. Марфуше всегда хотелось посмотреть на этих людей. Заговаривать с ними она бы не стала, дабы не разрушить какое-то нужное ей чувство, позволявшее и впредь рисовать. Но иногда ее так и подмывало приклеить с обратной стороны маленький конвертик с письмом покупателю. Там она хотела написать свой номер телефона и, может быть, стишок какой-нибудь. Но все это выглядело бы как-то очень странно, и она это понимала и каждый раз отказывалась от своей затеи. Собственно, зачем это было ей надо, поговорить с кем-нибудь о всяких глупостях? Деревянная некрашенная рамочка, стекло, паспарту — недолго вставить картинку. Завтра утащить из дома в картонной папке с двумя ручками-веревочками сбоку.

Когда она познакомилась с Игорем, они часто уезжали из города вдвоем и бродили по берегам реки. Один из таких вечеров запомнился Марфуше. После июльского дня наступил теплый мягкий вечер. Солнце светило легко, не жарко, гладило светом по голове, плечам, рукам. Они спустились по тропинке с горы. Была видна далеко за Волгой дальняя деревня, поля, покрытые молодой пшеницей, вдали бесшумно катился маленький, размером с жучка, автобус. В воздухе были растворены безмятежность, спокойное счастье. Марфуша смотрела в небо, прозрачные сиреневые облака на горизонте и вдруг сказала Игорю: «Мне кажется, что так будет всегда». И теперь, когда она закрывала глаза, она могла почувствовать эту минуту с запахами июльских трав, увидеть свет вечернего солнца, услышать жаворонка и стрекотание кузнечиков. Это воспоминание как детский «секретик», красивый фантик под стеклышком, хранилось в

ее памяти, и она смотрела на него, когда хотела вспомнить что-то самое главное в ее жизни.

Муж не пришел и не позвонил. Наверное, так надо. Будем ждать и надеяться, что он вернется еще до Нового года. А пока давай, Пупсик, поучимся читать. Бабочка М села на цветочек А, и что получилось? МА.

В лесной глуши живу,  
от всех далек,  
лишь только свежий ветерок  
порою залетит  
в мой скит.  
Мы с ним забыли о мирских делах —  
богатстве,  
славе,  
прочих пустяках.

Пупсик уже уснул и тихо сопел, укрытый клетчатым байковым одеялом — идиллическая картина. Не считая того, что муж так и не появился, риса осталось на дне банки, и, похоже, сломался телевизор. Женщина открыла форточку, села на тахту, взяла в руки сборник китайских стихотворений. Она находила в стихах китайских средневековых поэтов те же эмоции, отражение подобных событий, ту же зависимость от мира мужчин, видевших в женщинах изящное украшение жизни. Были, наверное, и независимые. Но они, кажется, стихов не писали. Первые же, нежные и хрупкие, могли вынужденно стать самостоятельными, как Ли Цинчжао. После того, как ее муж умер, она скиталась по чужбине, порой жила в джонке, уходила от мира.

Марфуша достала из буфета белое виноградное вино, наполнила им грубо отлитую с пузырьками воздуха в стеклянных стенках рюмку и подошла к окну. Ночной снегопад.

Сохранение душевного мира до сих пор для Марфуши не представляло больших забот. Но вот что будет, если комфорт, которым она себя окружила, развалится? Уйдет и не вернется муж, сама Марфуша заболит страшной и неизлечимой болезнью, навечно поселятся с ними ворчливые и нервнические родственники, она попадет в тюрьму по неосторожности... Но ничего такого предугадать не дано, не правда ли? Стоит ли сердце свое тревожить такими мыслями, не лучше ли учить уроки собственной жизни, не оглядываясь на людей, задаваясь бессмысленными вопросами, что думают о нас другие-прочие...



## Дервеш

Ольга шла по улице в смутном настроении, которое было испорчено встречей с одноклассниками. Ни к чему было видеться с людьми, которые всегда были ей чужими. Безрассудно было надеяться, что за десять лет они кардинально изменятся и что-то хорошее случится. Случилось то, что должно было случиться, то есть ничего хорошего или интересного. Собственно, она и не считала, что вселенная должна была устраивать ей увлекательные зрелища, но все же частенько мечтала о чем-нибудь неожиданном и не без приятности.

Проходя мимо супермаркета, она вдруг увидела перед собой странного человека, крутящегося вокруг собственной оси и словно вертолет размахивающего полными пакетами. Едва успев затормозить, она отскочила в сторону и оступилась в лужу на краю дорожки. Мужчина, до этого

вертящийся как дервиш, внезапно стал смеяться, глядя на нее. Ему было лет тридцать. Его худое лицо украшали черная бородка, прозрачные светлые глаза. Длинный, забрызганный грязью плащ хлопал полами, когда человек делал особенно головокружительный пируэт. Эти подробности Ольга сразу отметила своим тренированным глазом фотографа, и они ее очаровали. Вот оно — неожиданное и увлекательное зрелище! Мужчина, продолжая улыбаться, спросил ее:

— Вылезайте скорее из лужи, там грязно.

— А мне здесь нравится, — упрямо сказала она, и залезла в еще более глубокое место.

— Здесь водятся крокодилы, — предупредил ее странный человек. Только и она выглядела теперь не менее странно. Жидкая грязь протекла в туфли и холодила ноги. Заболею, подумала она.

— Если хотите, я дам вам носки, и в них вы сможете дойти до дома, — предложил мужчина и весело улыбнулся. — У меня есть теплые шерстяные носки. В них мягко и удобно.

Ольга все же выбралась из грязи и стала снимать обувь. Заботливо склонившись над ней, незнакомец помог стянуть с ног сочно чавкающие туфли. Положил их в один из пакетов и, действительно, достал черные шерстяные носки небольшого размера. Она с блуждающей улыбкой на лице и носками на ногах осторожно ступала по асфальту, уже прогретому майским солнцем. Шла она молча, чувствуя на себе недоуменные взгляды прохожих.

— Вы сумасшедший? — вдруг спросила она.

— Да, конечно, а как вы об этом догадались? — и он изобразил на лице крайнее удивление.

— А вы, осмелюсь спросить, тоже слегка не в себе? — поинтересовался в свою очередь прелестный человек.

— И даже не слегка, наверное. А что у вас в пакетах?



— В одном — хлеб, сыр плавленый, лук. В другом — бутылка портвейна. Я собирался пьянствовать по случаю праздника Нового года. Это мой любимый праздник, и когда у меня плохое настроение, я всегда отмечаю Новый год.

— То есть просто напиваетесь, — строго пояснила Ольга.

— Нет, не просто. Я дарю сам себе подарок, звоню по телефону бывшей жене, делаю селедку под шубой, не сплю всю ночь, сочиняю маленькую новогоднюю кантату. Хотите, сегодня Новый год справим вместе?

Ольга очень хотела, но и занервничала она тоже очень. Она даже покрылась холодным потом, а живот стянуло в узел.

— А вдруг вы маньяк? — осторожно спросила и посмотрела в его светлые голубые глаза, которые вдруг стали страшными.

— Да, я жуткий маньяк, задушил и зарезал уже сто женщин, вы будете сто первая. — И он растопырил руки и грозно пошевелил пальцами.

Это заявление почему-то не особенно убеждало.

— За что Вы их убиваете?

— Дело в том, что руки у меня теплые, сердце холодное, голова пустая, а уши эротические. Они сами себя убивают, когда я их оставляю или вдруг забываю. Влюбляются безумно, теряют самообладание и становятся невыносимыми — начинают упрекать, требовать все начать сначала, жаловаться, жалеть себя. Некоторые особо слабые женщины даже плачут. А не понимают того, что не надо волноваться попусту — вот и весь секрет. Мало им счастья от самих себя. Вы уж, пожалуйста, не влюбляйтесь в меня, а то и вам придется повеситься или, возможно, какой-то другой способ самоубийства предпочитаете?

— Предпочитаю выпить портвейн у меня в комнате и встретить Новый год!

Его звали Марк. Немец по папе и узбек по маме. У него было узкое тело, сильные ноги, тонкие длинные паль-

цы на руках и очень чувствительная кожа. Ольга проваливалась в него как на другую планету, забывая себя и свои обстоятельства жизни. Новый год у них продолжался три дня. С портвейна они перешли на шампанское, с шампанского — на коньяк, с коньяка — на мятную настойку. С Ольгой никогда не случалось ничего подобного не в смысле эротическом, а по силе легкости, полета, радости, открытости и шалости. На четвертый день Марк стал внимательно разглядывать фотографии на стенах.

— Не слишком много хаоса? Вот здесь я вижу что-то сюрреалистическое.

— Нужно погрузиться в хаос, сразиться с ним и победить.

— Не лезь туда, в хаос. Он сильнее. Лучше погрузись в гармонию.

— Но гармонию надо найти сначала и не чужую, а свою.

— Ты думаешь? А я вот не думаю — исключительно интуиция и прозрения. О, а вот это мне нравится. Вот здесь я вижу женщину в окне, она негритянка?

— С чего ты взял?

— Ну, такая темная, почти черная.

— Она не негритянка, но обуглилась от страсти и не знает, чем заняться.

— Почему бы ей не отдаться чувствам?

— Но как и где? Для ночного клуба она старая, на работе у нее одни женщины, знакомиться в библиотеке или на концерте она не умеет, все знакомые мужчины женаты, но самое главное, это опасно, и ей никто не нравится.

— А я ей нравлюсь?

— Только ты и нравишься.

— Вот она и влюбилась.

— Вот и нет!

— Мне пора на работу. Они там еще не знают, что у меня Новый год. Скажу тебе напоследок, милое, неразумное, взбалмошное дитя по обе стороны добра и зла: попусту

не задумывайся, смейся чаще, жарь картошку, на быт смотри свысока, побереги свое маленькое сердце и не рви его. Да, еще не спорь, потому что вовсе не к лицу тебе это. Прими это просто за данность, ибо так оно все и есть. Глаза зажмурь, а потом открывай понемногу.

Марк надел плащ, потерял бородой о ее щеку и быстро вышел из дверей. Свой телефон и адрес он не оставил, а Ольга не стала спрашивать из чувства гордости и чего-то там еще, предположительно, что если это судьба, то они должны снова обязательно встретиться. И потом, она надеялась, что он чуть-чуть влюбился. А уж она точно влюбилась, что никак было невозможно отрицать.

Долгие две недели Ольга сидела в комнате общежития, боясь выйти хотя бы на минуту. Ей почему-то казалось, что Марк должен прийти когда угодно — утром, ночью, днем. Когда Ольга уходила в магазин за едой, она оставляла на дверях записку — подождите, мол, сейчас я вернусь. Эти долгие дни ожидания превратились в бесконечное мучение. Ночью она пила пустырник, чтобы уснуть. Спалось все равно плохо, но снотворное она не принимала из опасения проспать стук в дверь. Днем она постоянно выскакивала в коридор, ей слышались его особенные шаги и покашливание. Именно слышались. Она не могла читать книги, не могла смотреть телевизор, не могла разговаривать с насельниками общежития. Ольга все время находилась как будто в лихорадке, не могла найти себе места, металась по комнате, вышвыривала вещи, вспоминая слова древнего философа Уильяма Оккама, процитированные Марком «сущности не следует умножать сверх необходимости», которые она поняла слишком материально. Влюбилась, — думала она, — влюбилась, дура.

— Думаешь, что влюбилась?

— Если нет, то тогда я не знаю, как это назвать. Я все время думаю о нем, представляю его, вспоминаю его слова.

Он мне кажется самым красивым мужчиной на свете. Я говорю банальности, похоже, но мне не хочется придумать что-то новое просто ради оригинальности.

— Это просто секс, которого слишком долго у тебя не было.

— Это секс, который был бы невозможен ни с кем другим. Мне с ним было хорошо в любой момент — в постели, за столом, когда разговаривали и молчали.

— А если он не придет, ты будешь несчастна?

— Я уже становлюсь несчастной.

— Но это же зависимость от человека. Немногим лучше любой другой зависимости. Даже хуже. Ты теперь считаешь, что он обязан быть твоим только потому, что тебе его не хватает. Тебе не хватает не его, а чего-то такого, чтобы быть самой собой.

— Предлагаешь самоудовлетворяться вибратором, как престарелая леди? Я никогда не стану леди. Я хочу его видеть. Хочу, очень хочу.

Она решила найти его сама. Ходила по улицам, всматривалась в лица прохожих, расспрашивала уличных торговков, не видели ли они такого вот мужчину. Город может растворить человека как иголку в стоге сена. Можно годами не встречаться с соседом по площадке. Зависимость от неизвестного человека — как это глупо. Могла бы найти кого и поближе. Если приглядеться внимательнее, то можно заметить, что живешь не в пустыне, и кандидаты в бой-френды все же мелькают в пределах досягаемости. Некоторые даже подмигивают. Но как они подмигивают противно, пошло, отвратительно! Даже смотреть на них — это тратить бессмысленно жизнь. Не говоря уже о чем-то другом. А другие, симпатичные, не подмигивают, поэтому становятся несимпатичны.

— Тебе нравится, когда тебя игриво хлопают по попе?

— Сама не знаешь? Я дергаюсь, как от электрического разряда и совсем не от удовольствия, а наоборот.

— А когда вдруг в твоём присутствии начинают петь под гитару, многозначительно на тебя посматривая?

— Я себя чувствую по-дурацки и хочу куда-нибудь убежать.

— А когда, вообще, не обращают внимания?

— Это уже получше, можно хотя бы спокойно понаблюдать и сообразить, кто же мне нравится.

— А когда лучше всего?

— Когда судьба сама сталкивает, как кажется. Ощущение случайности и одновременно неотвратимости. И присутствие тайны.

Через пару месяцев она встретила его опять на улице. Марк был не один, а с пышной красоткой, которая залихотала. Ольга юркнула в подъезд дома и подсматривала сцену через щель в двери. Потом она долго кралась за ними до двухэтажного дома с облупившейся штукатуркой. И ждала до одиннадцати часов вечера, ходила вокруг дома, заглядывала в окна, пряталась за забором, если кто-то выходил из подъезда. Чего же она ждала? Например, появится Марк и скажет: «Я знаю, что ты здесь, выходи!». Или так: злая и недовольная дамочка вылетит из подъезда и умчится вдаль. Или она увидит Марка в окне, задумчиво курящего и тоскливо осматривающего окрестности. Был еще такой вариант: Ольга изображает социального работника, опрашивающего население, какие коммунальные неудобства терпят жильцы данного дома. Предполагалось, что если хохотунья — жена или невеста, то она ни о чем не догадается. А вот Марк рухнет, и Ольга увидит его, растерянного, и, кто знает, может тайно обрадовавшегося. Вот такие не очень умные фантазии терзали ее до одиннадцати вечера. Потом она запаниковала — автобусы могли в любой момент прекратить движение, и тогда она оказалась бы одна дрожащая и одинокая в далеком районе на ночных пустынных улицах.

Каждый день Ольга бродила рядом с домом, где исчез Марк. Она узнавала, наверное, всех жильцов дома, видела в том числе ту самую, пышнотелую. Но только не того, кого надо. Ольга так и не решилась на социологический опрос, передумала хитро знакомиться с соседями, не смогла узнать номера телефонов в этом доме. Она часто стояла, спрятавшись в подворотне и порой, впадая в транс, пристально смотрела на окна противоположного дома. За это время какого-то сомнамбулического состояния она придумала всю его жизнь от детства и до момента их встречи, и эту жизнь она прожила вместо него и вместе с ним. Ей стало как-то спокойнее просто знать, что он здесь, и если не живет, то появляется, и что если она сильно-сильно захочет его увидеть, то не забудет, где надо искать кончик веревочки.

Потом грянула жара, по которой ходить по городу было опасно для жизни. Потом к ней приехала из другого города двоюродная сестра, и Ольга целыми днями ее развлекала. В сентябре начинался новый учебный год, и Ольга пошла работать в школу. Постепенно она поняла, что так и должно было получиться. Марк — какой-то странный маргинал и, вообще, легкомысленный, несолидный, оборванный, по всему видно, нищий и недостойный ее трепетного внимания.

Но история на этом не закончилась. Почти ровно через год Ольга встретила Марка. Он, звеня пустыми бутылками, поспешал, судя по всему, к стеклотарному пункту. Вид у него был потрепанный, грязный плащ не прикрывал рваной футболки. Он шел, погруженный в себя и свои заботы.

Ольга сначала слегка остолбенела и смотрела на него, наверное, так, как сестры смотрели на ожившего Лазаря. Пришла в себя, когда Марк уже завернул за угол дома. Она рысью догнала Марка, посмотрела в его прозрачные глаза и предложила встретить Новый год вместе. Он, нисколько не удивившись, немедленно согласился. У себя дома.

За пару дней на деревянных духовых Марк ей сыграл порядочно кантат.

— Где ты был целый год?

— Ты же знаешь, что я дервиш. Где я был, точно не помню. А тебя я видел очень много раз.

— Почему ты не вышел?

— Потому что ты уж очень сильно этого хотела.

— А сейчас?

— Сейчас это происходит само собой.

— Ты мог пройти мимо, если бы я тебя не остановила.

А кто эта красотка в твоём доме?

— Это соседка. Она уехала в Москву в поисках счастья. А ты нашла свое счастье?

— Счастье я не искала. А вот радость я нашла. А ты меня любишь?

— Люблю как снег зимой, как весной бабочек, как мизинец на левой руке. Или даже как на правой.

Для Ольги началась другая жизнь. Днем она вращалась среди вполне нормальных, довольно культурных и активных людей, а вечером — мчалась к невероятному Марку, который, кстати сказать, работал в маленьком симфоническом оркестре. Страстно любившая его мама часто приходила к непутому сынку присматривать в квартире за порядком и приличием, слегка замаскировывая необычные привычки сына и его представления о мире.

Летом Марк жил в садовом домике на берегу реки. Здесь он вольготно реализовывал свое понимание мироздания и свободы. Ольга вытаращила глаза, когда увидела в первый раз бесподобную грязь и бедлам в его домике, который она поначалу воспринимала как оскорбление. Там просто некуда было сесть, не рискуя угодить в пепел, крошки, рыбью чешую и горки высушенного использованного молотого кофе. Для выражения своего отношения ко всему этому, она иногда носила демонстративно кусок полиэтилена и набрасывала его на про-

дранное и замызганное «кресло для гостей». Марк сердился, потом смеялся над ней и говорил, что так он специально делает — придут, мол, лихие люди, увидят, что неудобно здесь, пожизниться нечем и уйдут. Домик-то стоит на самом отшибе садово-дачного государства. И, вообще, говорил он, нет никаких систем, в том числе интерьерно-санитарных, а так же условностей и приличий. Душа — всему мера.

— Чтобы жить без суеты и вести несуетно домашнее хозяйство — поучал он ее, — надо либо украсть миллион-миллиард, либо наплевать на все возможное и невозможное с высокой колокольни. То есть можно быть либо бедным, либо богатым. А они отличаются принципиально — количеством имеющихся денег. А так как деньги в различных структурах-иерархиях имеют различное толкование, как то: «пыль» — у приличных людей, «грязь» — у воровских людей, «зло» — у добрых людей, то и отличаются бедные от богатых количеством чистоты и простоты.

Ольга с недоверием прислушивалась к таким рассуждениям и что-то возражала, доказывала, что, мол, есть и нищие негодяи, и праведно заработанные капиталы. Праведность, как выразился Марк — не их с Ольгой дело, хотя он понимает, что на праведниках мир держится, и советовал ей тщательнее заниматься фотографией или работать в школе. И добавлял: «Но если не хочешь — не работай, ощути это как трудовой инстинкт». Однако, спорили они недолго, и его немислимое у добропорядочных людей устройство жизни стало ее восхищать как раз именно за простоту, незатейливость и естественность.

Он говорил, что всегда понимает, что человек врет, слышит, даже когда он слегка фальшивит. Поэтому, советовал он Ольге, не умничай, а если впала в детство (Ольга в это время пыталась сфотографировать его в туалете), то задержись в нем подольше или иди работать, если уж так хочется работать, в детский сад, а не в школу.



— Слушай, не хамит ли он тебе?

— Он такой со всеми, и это не хамство, а просто отсутствие сентиментальности. Не забывай, что и я говорю ему дерзости. Если бы я хотела, чтобы со всеми он был одним, а со мной почему-то другим, то пришлось бы его переделывать. А он мне нравится таким, какой есть.

Летом он ел то, что Бог пошлет ему на грядках — лук, картошку или даже ходил на реку рыбачить. Его уха — это было нечто особенное, что мог есть только он, как, впрочем, и всю остальную его подозрительную стряпню. Один раз он угостил Ольгу ухой, сваренной на костре в сковороде с огромным количеством укропа, без соли, приправленной таким амбре... Прокопченная сковорода стояла на табурете, едва оттертой от пепла и грязи непонятного происхождения. Люди, говорил он ей, болеют оттого, что все съедобное тщательно моют, а руки немилосердно трут мылом, а надо кое-что есть невымытое. И, кстати, необходимо иногда есть землю. Тем не менее, Ольга не могла угощаться кофе из его кружки, изнутри покрытой толстым слоем кофейных отложений и всегда привозила стакан, ложку и тарелку с собой. Он сердился и горячо уверял ее, что у него почти все стерильно. Ножи он, конечно, не моет. А зачем это делать, если одним ножом он всегда режет рыбу, а другим — мясо. Она, между прочим, никогда не видела, чтобы он ел мясо. Разве только сосиски, которыми Ольга его прикармливала.

Худой до предела, загоревший до черноты, с лохматой гривой волос, облаченный в короткие шорты в любую погоду, он шлялся вдоль садовых домиков — обычно к реке и обратно. Для города у него были припасены чистые джинсы и рубашка, которые он бережно хранил в шкафу и надевал только в случае крайней необходимости.

Приезжавшая на выходные дни Ольга часто жаловалась на родителей, обнаглевших детей в школе, алчных кол-

лег, здоровье, краткость жизни, жестокость высших сил, мороз — зимой и жару — летом. Трагически вопрошала:

— Почему одни могут жить, как хотят, а другие — нет?!

— Живи и делай, что хочешь, но за все заплатишь.

Воля — твоя. Заплатят все: кто ничтожеством своим, кто богатством, кто детьми. За свои желанья, хотения, заповеди отвечаешь только ты и больше никто.

— А смысл жизни есть? Особенно нашей с тобой, такой бестолковой и непонятной.

— Смысл жизни — в самой жизни или, может быть, в спасении души человеческой. Спасайся, как можешь — вот и все. И никого не анализируй и не оценивай — ни людей, ни их творчество. Все эти суждения-осуждения — лишний мусор на твоём пути. Гляди на мир своими глазами и помни, что за человека говорят только его дела. Да, вот еще — не предъявляй претензий к миру, ты же не Иов. Не жалея себя, не жалуйся, не упрекай. А если нервы разгулялись — слушай качественную музыку.

Жизнь он любил во всем — как ребенок прыгал под дождем, мог окатить себя из шланга, радостно и глупо при этом улыбаясь. Восторженно жевал первую редиску и все последующие. Переплывал, как крепкий и ловкий зверь, широкую реку, взбирался на высокий противоположный берег, и как мальчишка прыгал в воду в опасном месте. В такие моменты Ольга слегка презрительно кривилась, подозревая, что он красуется не только перед ней, но и перед дачницами в купальниках. Однажды, хохоча, он рассказал ей про птиц, которые живут рядом с ним:

— Я тут как-то при солнце моцартовский концерт на магнитофоне слушал и вышел на свежий воздух. Сижу, балдею, смотрю — сперва два воробья прилетели слушать, потом — трясогузка и ходят почти рядом, делают вид, что есть охота, а на самом деле тащатся от музыки. Кончился Моцарт — улетели восвояси.

Марк не впускал Ольгу до конца в свою жизнь. К нему могли приходиться странные разношерстные люди, с которыми у него были какие-то непонятные непосвященной Ольге дела. Она и сама не старалась погружаться в чуждые, как сама она это чувствовала, сферы жизни. Иногда он запрещал ей и всем прочим приходиться к нему — тогда он становился сосредоточенным и отрешенным. В один из таких моментов, как он однажды признался, он в полушаге то ли от какого-то безумия и катарсиса, то ли от дерьма собачьего. Брал в руки гобой и уходил куда-то в лес. Там он слушал своих любимых птичек, заносил ноты карандашом на линованную бумагу, что-то писал в толстую тетрадь.

— Похоже, ты решила выйти за него замуж?

— Я не решаю, к тому же это уже произошло.

Возможно, Ольге мерещится жизнь с Марком веселая, творческая, а он окажется злостным алкоголиком и заставит ее страдать и мучиться. Но ведь и девушка наша — не подарок, существо не без капризов и тяжестей характера. Пускай они потерзают друг друга, пообижают и пораздражают. Но им обоим будет казаться, пусть хотя бы некоторое время, а может быть, очень долго или даже всю жизнь, что они созданы друг для друга. Истина это или крепкая иллюзия — какая разница?

— Вечность — короткие мгновения, каждое из которых истинно.

— Но лучше об этом не думать?

— И не дурить добрым людям голову.

— Так бывает?

— Не со всеми, и слава Богу!



## Теро Анну

Если она умрет, то я об этом никогда не узнаю. Могут пройти годы и годы, но я буду думать, что она жива, живет в домике на берегу реки и пишет рассказы про океан, который никогда не видела.

Встает рано утром, заваривает свой кофе, который пьет в больших количествах, потому что, как уверяет, прочитала, что его любил пить Максимилиан Волошин. Потом идет, как он когда-то любил, гулять по окрестностям — направо дачи с кривыми яблоньками, налево — чахлый лес, а если спуститься вниз, то там река с мелким темно-серым песком на берегу. Она садится на бревно, смотрит на волны и представляет, что это вода когда-нибудь попадет в океан и станет его частью. Бросает в воду ветку, которая может доплыть до океана. Она каждый день что-нибудь бросает в воду, что может уплыть далеко, до устья реки и впасть в

море. Однажды бросила бутылку с запиской «Кто найдет записку, напишите мне письмо по этому почтовому адресу». Никто не написал, но она особо и не рассчитывала.

На крыльце она встречает шестидесятилетнего соседа, который изображает влюбленность и кормит ее иногда салатом, который сам и готовит. Он стремится накормить ее и пельменями, и шашлыками, но она отказывается, так как сосед начинает подсаживаться к ней ближе, трогать как бы невзначай за коленки и блестя глазами. Она могла бы прожить и без салата, но уж так замечательно тот его готовит, что отказаться не хватает сил.

Я ей звонила иногда и спрашивала о делах. Никаких новых дел у нее обычно не было, я и сама это понимала, и мой вопрос был вполне формальным, так как издалека, по телефону, не видя ее глаз, было непонятно, о чем можно было говорить. Если только ухудшение с ногой...

— Можно я к тебе приеду, — спрашивала я, и она всегда находила отговорки, что это неудобно в данный момент, что ее как раз пригласили покататься на машине на том берегу реки и она, возможно, может задержаться, заехать в гости и там остаться ночевать.

Когда мы с ней виделись в последний раз и хорошо ли расстались? Это было, кажется, три года тому назад. Я приехала, не предупредив ее, и остановилась в гостинице. Подойдя к дому, долго всматривалась в окна, пытаюсь увидеть ее силуэт. Когда открылась входная дверь, у меня застучало сердце, и я замерла, представив подругу в ее любимом синем платье, с длинной косой. Дверь открылась и на крыльцо выпорхнула девочка лет десяти, держа в руке бадминтонные ракетки. Она убежала за угол, а мое сердце немного успокоилось. Что такого было в Анне, что ее присутствие в мире меня так волновало? Она была бестолкова порой до крайности, жила на какие-то случайные заработки, которых едва хватало на квартиру и кусок хлеба, она была замкнутой и

почти нелюдимою — ничего особо привлекательного, но и эти черты меня очаровывали так, что мне казалось, что никакое другое поведение не может быть таким притягивающим.

То, что она писала рассказы, это было как чем-то очень естественным, как продолжение ее жизни, как обыкновенное составляющее ее существования, как для других обед из трех блюд. Но эта ее особенность не была, на мой взгляд, основной и главной. Я много знала людей, которые пишут, но никто не вызвал во мне желания быть рядом, всматриваться исподтишка в их лица, листать страницы их жизни, минутой за минутой.

Ее прошлое и настоящее казалось сном. Но, может, я все сама придумывала? К ней иногда заглядывал бывший муж, и тогда они ругались, и он уходил с красным злым лицом. Что они делили, об этом Анна никогда не рассказывала. Я знала, что их дочь умерла в пять лет и никогда об этом подробно не расспрашивала.

Девочка прошмыгнула мимо меня, а я, наконец, решилась войти в дом. Лестница по-прежнему была пыльной и на ней пахло кошачьей мочой. Я поднялась на второй этаж и остановилась перед обитой рваным черным дерматином дверью. Немного помедлив, позвонила в тугой звонок, который глухо звякнул по ту сторону двери. Дверь отрылась, и мы встретились глазами.

— Лена, это ты! — Она растерянно и радостно смотрела на меня.

— Анюта! — У меня отлегло от сердца, так как я видела, что мой приход ее действительно обрадовал.

Мы прошли на кухню, и Аня сразу поставила чайник на колченогую плиту, которая стояла испокон века в этом старом доме. Вот и кофе, который пьется по всем поводам. Я достала из рюкзака сливки и шоколадку, — знала, что этому она будет рада. Мы молчали, не зная, с чего начать разговор. Она, прихрамывая, неслышно двигалась босая по

кухне, одетая в длинную футболку и помятые фланелевый штаны. Каштановые длинные волосы были распущены и стекали по спине мягким водопадом. Под глазами на бледном лице были видны синие круги — опять не спала ночью, пила кофе и курила. Вдруг она сказала:

— Я знала, что ты сегодня появишься. Я видела сон про то, что меня звал кто-то в южную Индию, в Гоа. Но я отказалась. А потом появились двое странных мужчин, высоких, красивых и одетых в одежды странников, один из которых был с длинными светлыми волосами, с хвостиком на затылке, которого я спросила, куда они собираются. Он ответил, что тоже в Индию. Какие там города, снова я его спросила. Там северные столицы, — так он сказал. Непонятно — северные столицы. Я проснулась и стала думать, что он имел в виду. Обычно на север Индии, в Гималаи, отправляются хиппи в поисках духовных истин и просветления. У меня, кроме тебя, нет таких знакомых, кто бы мог туда поехать. Только ты.

Она улыбнулась и налила в чашки кофе, плеснула туда сливки и отломил шоколадку. «Знакомых», отметила я. Значит, я просто знакомая, а не подруга. Собственно, какая разница, как меня назовет она. Те отношения, которые у нас были, могли называться любым словом и они меня устраивали больше, чем какие бы то ни было другие. Моя легкая дрожь в пальцах уже почти унялась, когда я ощутила, что прежние отношения остались прежними. Ничего не изменилось, особая атмосфера, которая существовала для меня в ее присутствии, была все та же. Как будто в воздухе висел призрачный занавес, сквозь который я видела мир.

— Смешно, — улыбнулась я, — что ты представила меня. Я не собираюсь в Индию, мне кажется, что достичь истины и понимания можно и здесь, в России.

— Я имела в виду, что именно тебе это вообще интересно.

— А тебе? Это же твой сон, значит, это интересно тебе.

— И мне тоже, — сразу согласилась она, — И я бы поехала в Индию, действительно, куда-нибудь на север, где горы, скудная природа, аскетичные тибетцы пьют чай с маслом и солью и меланхолично смотрят на изваяния будд в скалах.

— Там так романтично, оказывается, я бы поехала с тобой, — я засмеялась и нам стало снова легко, как всегда было вместе.

В тот день мы гуляли по берегу реки. Шли долго-долго в северном направлении, мимо рыбаков, сосредоточенно сидящих на берегу с удочками, мимо пляжа nudистов, где немногочисленные смирные nudисты грелись на нежарком солнышке.

— В Индии им было бы теплее, — Анна вспоминала наш разговор. Она никуда не могла бы поехать, — ни денег у нее не было, ни нога не позволяла длительные поездки.

— Любовник, — внезапно она сказала. — Есть же у людей любовники, которые могут дать денег на поездку! И потом, Лена, после севера я все же поеду на юг. Там, в Гоа, океан. А посмотреть на океан я давно мечтаю.

— Но это почти невозможно, Анна, если он даст тебе денег, то и будет ждать, что ты будешь вокруг него уживаться, готовить пирожки, смотреть в рот и поддакивать. Ты готова на это? Конечно, в том только случае, если такой отыщется. И даст в конце концов такую сумму, на которую в соседний город можно будет только съездить в одну сторону.

— У меня есть два претендента. Один пенсионер, другой тридцатилетний вьюноша. Первый мне просто неприятен, а второй бездельник, и, кроме того, у него нет денег. — Она засмеялась, вспомнив про потенциальных любовников и было понятно, что они ее не спасут в смысле обретения суммы на билет. Анна сорвала длинную травинку и стала



грызть ее, улегшись на теплый песок и погрузившись в свои мысли. Ноги в синих джинсах она закинула на корягу, а затылок положила на скрещенные за головой руки. Я улеглась рядом и стала смотреть в том направлении, куда и она.

Кучевые облака, немного уже переходящие в дождевые, клубились на небе, создавали причудливые сочетания белого на сером и серого на темно-сером. Спокойный плеск волн доходил до ушей приглушенным успокаивающим ритмичным шумом. Две неизвестных птички, крупные, с зеленой спинкой и грудкой, попискивали под соседней ивой. Я пыталась вспомнить, что это за птицы и решила, что это иволги. Они крутились очень близко от нас и, казалось, что они любопытничают, присматриваются к людям. Они хлопотливо перепрыгивали с места на место, переговариваясь, и было совсем непонятно, чем все же они могут быть увлечены? Природа у меня вызывала всегда впечатления разумности, природные существа, казалось, ничего не делают просто так, от нечего делать. Каждый раз они занимаются каким-то делом, очень полезным и рациональным, выют ли гнездо, ловят ли мух, высидивают ли птенцов. Просто так балаболить между собой или мечтать о чем-то недостижимом, способны ли они?

— Можно так долго и бессмысленно валяться, — заметила вдруг Анна, — что многие мужчины с радостью и проделывают. Вот, например, один мой знакомый. Пустота, он говорит, это то, что внутри нас и это надо осознать. У него действительно пустота, — то, что он чувствует вместо любви. Знаешь, когда я смотрю на воду, на небо, слушаю звуки ветра в ветвях деревьев, я чувствую любовь ко всему, растворяюсь во всем, и мне кажется, что я уже там, где и надо быть, что все уже достигнуто и пройдено и надо остановиться в вот этом месте, где я стою. Но потом мне становится скучно и хочется изменений. И тогда я сомне-

ваюсь в том, что тот момент, который был идеальным, вовсе таким и не был. А тогда зачем искать других идеальных моментов, — они так же обесценятся. Зачем ехать в Индию, зачем еще куда-то?

Анна встала, разделась и медленно вошла в воду. Стройная, с тонкими руками и выпрямленной спиной, она, казалось, сейчас будет молиться солнцу или взывать к небу, совершая какой-то обряд поклонения природе. Заколов волосы на затылке, она поплыла. Я тоже подошла к реке и попробовала ногу водой — холодно, градусов десять, не больше. Анюта плыла не спеша, как русалка, и совершенно уже казалась мне дитем природы. То, что она сейчас говорила, как будто растворилось и исчезло в воде. Опять не было никаких слов, а было то, что они обозначали, то, на что указали. На минуту мне показалось, что от этой сцены повеяло академизмом — картинная нимфа купается в источнике.

Выйдя из воды, Анюта вытерлась футболкой и снова надела ее на голое тело. Стал накрапывать очень мелкий дождь, и мы повернули назад домой. Шли, наступая на собственные следы в мокром песке. Выход там, где обычно вход, думала я, представляя себе почему-то, как Анна стала жить этой найденной вдруг жизнью — одна, на краю города, в каком-то почти бараке.

Она, как будто угадав мои мысли, заметила:

— Знаешь, порой мне как будто не хватает чего-то такого снаружи. Хотелось бы жить, конечно, в своем доме с садом, наверное, иметь машину, чтобы путешествовать. Но это снаружи, а изнутри я уже живу так, как я хочу. Настроение мое говорит мне, что уже лучше быть не может.

Вопреки сказанному, лицо Анны было почти печальным. Глаза ее опустились и смотрели под ноги. Иногда мне казалось, что я ее так чувствую, что становлюсь ею, думаю ее мысли, чувствую ее эмоции и тогда я как бы забывала, не помнила себя. Даже сейчас мне чудится, что маленький

кусочек Анны во мне существует как орешек. Она изменилась, поняла я, она стала похожа на грустную птицу, которая сидит на окне, свободная, и не хочет никуда лететь.

Вечером к нам заглянул пенсионер Виктор. Он, явно хлебнувший чего-то алкогольного, хотел было усесться за стол и начать заводить беседы про политику, про то, как много у него денег и какой он работающий. Но вскочил и помчался в свою конуру, забитую всякой мебелью. Вернувшись через пару минут, он вывалил на стол фрукты, конфеты, капустный салат в стеклянном салатнике и рис с сардельками в большой тарелке.

— Вот, Анюточка, Леночка, угощайтесь. Сегодня я опять спроворил — плиту в кафе починил и три тысячи — в кармане! Завтра пойду еще в столовую. Устал, зато у меня все есть! — он хвастливо заулыбался. — А вот Анюточка могла бы и поприветливее со мною быть, скажи ей, Леночка, я же еще молод душой и жажду любви и ласки, — столько ее во мне скопилось!

Анюта отошла к окну и раскрыла его. Закурила, глядя на тополиный пух, который медленно летал в проеме окна как дождь с крупными белыми каплями. Пушинки задувались в окно, пролетали мимо Анны, над столом, и исчезали где-то, притаившись на предметах и в углах комнаты. Она, казалась, не слышала потока викторовского красноречия, отстранившись от него, от нас, от меня, пытавшейся изображать приветливый вид, казаться, что слушаю Виктора. Он разглагольствовал про своего отца, который тоже был хозяйственный и в самые тяжелые в стране времена мог жить на широкую ногу и содержать жену и детей. Его глаза, налитые какой-то мутью и тяжестью, смотрели на Анну, которая отвернулась от нас. Казалось, что он кот, а женщина у окна — птичка, которую он собрался поймать.

— Мне нужно позвонить, — Анюта вышла из кухни, взяв телефон.

— Ну, и я пошел, девочки, — Виктор поднялся и пошел к дверям, неуверенно перебирая ногами, будто надеялся, что его остановят. Он затворил дверь, и я услышала его начальственный голос, отчитывающий кота, не желающего есть сардельку.

Ночью Анна постелила мне в комнате, а сама осталась на кухне читать книгу.

— Извини, — сказала, — мне надо побыть одной, я устала, не могу много говорить, даже с тобой.

Я не могла долго уснуть, прислушиваясь к скрипам старого дома, к шорохам на кухне. Анюта запустила кота, черного и лохматого, в квартирку и сидела с ним в кресле, поглаживая его одной рукой, а другой переворачивала книжные страницы.

— Животные видят нас такими, какие мы есть на самом деле, — говорила Анна, — если, конечно, они не испорчены человеком. С ними не надо притворяться.

Кот мурлыкал так громко, что мне было слышно в комнате или, может, тишина все больше овладевала пространством, и каждый звук бы звучал по отдельности и ясно. В открытое окно вливался запах свежескошенной травы, который напоминал что-то такое, давно прошедшее, как будто из детства или как будто из чего-то такого, неслучившегося. Мне всегда чего-то не хватало для того, чтобы чувствовать себя счастливой, какой-то малости, какой-то черточки, точки. Балансируя на границе этого ощущения, я не могла полностью погрузиться в настоящее, в то, что есть. Могла ли это Анна? Она читала свои книги, писала о невидимом океане, была ли она на самом деле рядом со мной во время разговора? Не такая же она, как и я? И грусть, не проходящая у нее после смерти девочки, усиливали впечатление ее отсутствия. Или я вижу только то, что есть во мне и по-настоящему ее внутренний мир мне недоступен.

Кот пробежал к дверям и стал ее царапать. Анна осторожно открыла дверь и выпустила его наружу. Подошла ко мне, увидев, что я не сплю, спросила, не закрыть ли окно, ночью могут налететь комары. Я отказалась, и вдруг мои мысли произнеслись вслух:

— Неужели вот это все, что может быть? Жить вдали от людей, от мира, от восторгов и горя, отгородиться от всего и ничего не ждать и ни на что не надеяться? Это и есть счастье?

— Почему ты сказала «от мира»? Разве мир — это то, что где-то там? Даже вот океан — он внутри меня, а не снаружи. Я не могу убежать от мира, да и не хочу. Спокойной ночи.

Утром на кухонном столе в высоком стакане появился ирис — желтый, с бордовыми нижними листьями.

— Дима приходил, — объяснила Анна. Был ли Дима тем самым «бездельником без денег» было непонятно, но спрашивать не хотелось. Я понюхала цветок — от ириса исходил очень слабый, сладкий и бесконечно приятный запах. Анюта курила у открытого окна, сбрасывая пепел в глиняную чашку, которую слепила сама. Перед Грушинским фестивалем она лепила на продажу много керамических фигурок, свистулук, шейкеров с гремящими глиняными горошинами внутри. Вот и сейчас, в начале июня, она уже начала этим заниматься.

— Поздно начала, — сказала Анна, показывая на кусок размокающей глины в ведре. — Глины не было, а вот Дима привез и еще обещал. Лена, я сейчас буду занята, ты извини, мало времени осталось. Мне еще надо высушить, обжечь глину, раскрасить.

Не такой он уж и бездельник этот Дима, подумала я.

На пороге, когда я закрывала дверь, она вдруг сказала:

— Знаешь, я хочу удочерить одну девочку, дальнюю родственницу Виктора, она осталась одна, ее хотели отдать

в приют. А я к ней уже привыкла. Если со мной что-то случится, ты присмотришь за ней? Ее зовут Ирина.

От неожиданности я опешила, и только кивнула головой. Она улыбнулась мне на прощание и, попросив немного подождать, вернулась через минуту и дала мне в руки керамические бусы.

Эти бусы я сейчас перебираю в руках. Они состоят из черных и белых бусин. И среди них есть одна бусина яркого терракотового цвета — это она, Анна, так я себе представляю ее. Я не видела ее три года. В тот город на Волге я больше не приезжала, хотя он находится недалеко и стоит только сесть на автобус, как через два часа окажешься там. Я ей звоню иногда и оказывается, что все в порядке. Со мной что-то произошло, я никуда не езжу, я сижу у открытого окна и смотрю на цветы, растущие у соседнего дома, это голубые и желтые ирисы с фиолетовой каймой на нижних лепестках. А последний год я не звонила ей и мне кажется, что если с ней что-то случится, то об этом я не узнаю и всегда до конца жизни мне будет казаться, что она там, пишет рассказы про океан, лепит свистульки, гуляет по утрам по берегу, воспитывает Ирину. С ней ничего не может случиться, она вечная. А, значит, вечная и я.



## Кошечка с ушастиком

Ему пятьдесят пять лет, но выглядит он старше. Небольшого роста, тщедушный, впавшие щеки, крупные и при этом редкие желтые зубы, песочного цвета жирные волосы торчат в разные стороны. Костюм неуправляемого грязноватого цвета, брюки и пиджак, под которыми заметна выцветшая голубая рубашка, застегнутая под морщинистое горло. Под очками несмело поблескивают бесцветные глазки, лишенные ресниц. Такое жалкое впечатление производил на окружающих старший лаборант физического факультета Семен Иванович.

— Приходите ко мне в гости в лабораторию, — скромно он приглашал новых знакомых, — у меня там есть кофе и шоколадка. Или попьем, может, пива?

Про пиво он произнес немного с хитринкой в голосе, с какой-то почти игривой интонацией, которая почему-то

пугала. Представлялось, что, напившись пива, Семен Иванович сначала оживится, расскажет не совсем приличный анекдот, а потом начнет жалобно всхлипывать у тебя на плече. С чего бы это и откуда приходило в голову, не совсем было понятно, но, вероятно, оттого, что, казалось, этот человек необыкновенно одинок. То есть он мог, конечно, общаться с некоторыми людьми по служебным обязанностям, перекидываться с ними дружескими словами, выкурить с ними около открытого окна сигарету. И все. Контакты с человечеством на этом обрывались.

Домой Семен Иванович приходил как можно позже. Там его почти никто не ждал — ни жена, ни дочь, угрюмо молчаливые с мужем и отцом семейства и болтливые по телефону. Только кот, рыжее лохматое существо, маятно дожидавшийся хозяина весь день, бросался ему под ноги и терся о них, когда Семен Иванович открывал входную дверь. Кончик высоко поднятого хвоста мелко дрожал, выражая преданность и нетерпение. Сухой корм, щедро насыпанный в металлическую тарелку, был подарком за то, что питомец дождался, не навалил в пластмассовый поддон в туалете. В отсутствие супруга жена с отвращением и брюзжаньем поднимала этот поддон и ополаскивала его в унитазе, выговаривая каждый раз вернувшемуся домой мужу, что, мол, сам притащил кота, сам и убирай за ним. Семен Иванович съезжился, стараясь казаться более незаметным, и молча брал кота в охапку, прижимая к груди. Он уходил на балкон, садился в кресло, которое принес с помойки, почистил, перетянул клетчатой тканью («шотландка» — гордо заявлял он редкому гостю), покрасил заново морилкой и покрыл лаком. Это был его кабинет, единственное место в доме, где он мог уединиться под предлогом, что он там дымит и не хочет обкуривать домочадцев. Сначала на балконе появилось кресло, потом он установил маленькую полку вместо столика, на которой иногда ставил чашку с кофе и пепель-



ницу. Еще позже Семен Иванович облагородил балкон цветами в горшках.

— Вот это мимоза, — говорил он, указывая на тщедушное растение со слабым тонким стволиком. Нежный и деликатный цветочек сворачивал свои листики в трубочку, когда к нему едва прикасались, а также когда грубо трогали горшок или поливали растение.

Кот Фараон жевал листья алоэ, горшок с которым задарила лаборанту соседка по подъезду, узнав, что у Семена Ивановича болит желудок. Вместо хозяина желудок или что-то другое подлечивал кот. Еще росли в маленьком керамическом горшочке, который был куплен на дне города у ребенка, продававшего собственные гончарные изделия, узамбарские фиалки. Все три растения стояли на подоконнике и дополнительно создавали ограждение от прочих обитателей квартиры, оставшихся по ту сторону балконных дверей.

Однажды, возвращаясь с работы мимо мусорных баков возле дома, Семен Иванович заметил выкинутые старые рамы с целыми стеклами. Его осенила мысль, и стекла были вынуты из рам и доставлены домой. Жена с одобрительным замешательством смотрела, как муж вдохновенно застеклял балкон, превращая его в лоджию, — редко муж прилаживал что-то по дому руками. Семен Иванович пылко объяснял, что так будет лучше, теплее в комнатах зимой. Жена согласилась с этим объяснением, смутно угадывая, что причина все-таки в чем-то другом.

Балкон приобрел еще большую уединенность, защищенность от мира со всех сторон. Там стало тихо и покойно. Шум машин и крики людей утратили резкость, а запахи трех растений сконцентрировались, как казалось Семену Ивановичу, и стали незаметно, но настойчиво оздоравливать его организм невидимыми эманациями. Фараон вспрыгивал на подоконник и смотрел в окно на птичек, усевшихся на

ветки березы, растущей под балконом. Он сдавленно издавал страстные звуки в наиболее напряженные моменты, когда воробьи уж слишком близко и непринужденно вертелись под его носом. Семен Иванович читал свежую газету и тоже посматривал на улицу.

Маленькая невинная тайна была у немолодого мужчины. Он был влюблен. Влюблен уже четыре года в женщину, живущую напротив его дома, в пятиэтажном доме «хрущобе». Ее подъезд находился прямо напротив его балкона. Примерно в шесть часов вечера она могла выйти из подъезда, сесть в «Окушку» яркого желто-зеленого цвета и уехать. Этот момент Семен Иванович старался не пропустить. Он вставал с кресла, открывал пошире маленькое окошко балконной рамы и почти высовывался наружу. Она казалась Семену Ивановичу очаровательной — маленькая, стройная, в обтягивающих красивые крепкие ноги джинсах, в свободной футболке, с короткими, как будто растрепанными каштановыми волосами, бейсболке, натянутой на глаза. Ей было не больше тридцати пяти лет. Четыре года назад он, отыскивая свежую травку для кота во дворе, внезапно увидел ее близко, ее грустные, как будто заплаканные покрасневшие глаза и потухший взгляд. Его взгляд занулся и он с удивлением заметил тонкий профиль древнеегипетский царицы.

Так он и называл ее про себя четыре года — Нефертити. На стене в лаборантской появилась репродукция с профилем египетской царицы. А дома Семен Иванович стал пить кофе из кружки, украшенной рисунком с египетскими иероглифами. Жена с брезгливостью отставляла эту кружку в сторону, когда мыла посуду. Ее любимые кружки с крупными аляповатыми розами супруг тоже не одобрял, но тайно, не комментируя свою неприязнь.

Иногда, в минуты особенной грусти и осознания своего круглого одиночества, он выходил из дома и садился на скамейку, дабы лицезреть выход царицы из подъезда. Не-

смотря на привычное ожидание, ее выход всегда был потрясением для старшего лаборанта, он сначала вздрагивал и съеживался, как его любимая мимоза, а потом, почувствовав благоухающий шлейф неведомых ему, кружащих голову духов, распрямлял плечи и с восторгом, спрятанным за стеклами очков, провожал женщину взглядом.

Это случилось через четыре томительных года влюбленности, когда он осмелился заговорить с ней. Вдохновение нашло на него при встрече с Нефертити в аптеке. Он увидел ее, стоящую в конце очереди, и встал за ней, внутренне трепеща и ликуя. Так близко стоять с ней рядом ему приходилось впервые за время его одностороннего знакомства. Глядя в затылок и вдыхая ягодный аромат ее мягких волос, Семен Иванович чувствовал все более и более возмущающее волнение. Очередь приближалась к кассе, и он запаниковал, что так и не воспользуется случаем, чтобы заговорить с Нефертити. Он вдруг хрипло сказал:

— Извините, я вот видел вас несколько раз и подумал, не нужен ли вам котенок? — Он испуганно смотрел на женщину. Нефертити обернулась и вопросительно взглянула на Семена Ивановича.

— Простите, это вы мне сказали? — Она немного отпрянула от мужчины, который источал, как ей показалось, какое-то нездоровое воодушевление.

Семен Иванович затрепетал, услышав голос женщины. Он придвинулся к Нефертити ближе, задев ее рукавом пиджака и горячо заговорил, радуясь своей отваге и сообразительности, с пугающей его самого, как ему показалось, естественностью:

— Да-да, с вами. Я вас видел несколько раз и... и... почему-то решил, что вы не откажитесь от котенка. У нас в подъезде кошка родила котят, и вот они выжили, выросли и теперь их надо раздавать. А кому их раздашь? У вас нет котенка?

— Н-нет, — тактично отодвинувшись, ответила Нефертити. Человек вызывал противоречивые ощущения — отталкивала его внешность, но его робость и одновременная горячность отчасти заинтересовывали и вызывали и жалость к себе.

— Один очень красивый котик, черный, с белой салфеточкой на шее, — продолжал быстро и взволнованно говорить Семен Иванович. Женщине не хотелось обижать странного человека, и она, поддавшись порыву, предложила обменяться телефонами на случай, если ей или ее знакомым, действительно, понадобится котенок. Человек суетливо достал телефон и назвал свой номер. Не понимая до конца, зачем она все это делает, Зина, а именно так звали ее, продиктовала свой номер телефона.

Очередь тем временем подошла, и Зина, кивнув приветливо головой на прощанье, вышла из аптеки.

Восторг, восторг и упоение ощутил Семен Иванович. Он отошел от кассы и не спеша, осторожно неся в себе, как в хрустальном сосуде, торжественные и ликующие чувства, вышел из аптеки. Зина уже скрылась за поворотом. Душа его облегченно летела куда-то вверх, к расцветающим майским ветвям деревьев и дальше, дальше, в облака, к птицам. Он снял очки и зажмурился, глядя на солнце. «Нефертити», — благоговейно прошептал он.

Вечером упоение немного притухло под строгим взором жены. Он привычно съежился и ускользнул на балкон. Сразу открыл окошечко и выглянул наружу. Зеленая «Ока» стояла на месте. В который раз за последние несколько часов Семен Иванович находил в телефонном списке ее имя — Зина. Зинаида. В этом имени ему почудилось тоже что-то очень древнее, почти египетское. Позвонить ей или нет? — тревожно мучился вопросом старший лаборант. Но что я скажу? Про котят? Кстати, не посмотрел на них, все ли на месте?

Четыре игривых и пушистых котенка проживали в подвале дома Ивана Семеновича, который их подкармливал и следил, чтобы другие кошки, собаки и мальчишки котят не обижали. И вот именно они были призваны сыграть решающую роль в затянувшейся истории потаенной любви.

Дрожащими пальцами он набрал номер телефона и сразу же, не дождавшись ответного гудка, скинул набор. А вдруг муж подслушает и насторожится и, вообще, как-то страшно стало. Семен Иванович написал смс-ку: «Вы не надумали взять котенка?» — И уселся в свое кресло, решительно готовый на долгую переписку такими телеграммами по телефону. Покуривая сигарету, в памяти он воссоздавал запах ее волос, вспоминал, что нечаянно задел рукой ее платье. Приятные и несколько забытые ощущения прикосновения к привлекательному женскому телу охватили его. Он даже потянулся, как кот, представив Зину без платья, с обнаженным животом и маленькой грудью, с браслетом вокруг щиколотки, как это он видел на фотографии одной восточной танцовщицы. А вдруг у нее есть татуировка? — вздумалось ему, и он нарисовал мысленно в нижней части спины замысловатый цветок. Он сам был немного удивлен своими чувственными фантазиями, где он уже трогал ее грудь рукой и предлагал потанцевать медленный танец...

— Семен, ты будешь есть? — прервала приятный ход мыслей супруга. Она неясным, не совсем реальным пятном маячила за стеклом.

Семен Иванович вздрогнул, растерянно оглянулся на голос и быстрым вороватым движением спрятал телефон в карман брюк. С замирающим сердцем он подумал, что жена вполне могла бы догадаться о чем-то, завладеть его телефоном, узнать про существование Зины и все испортить. Он молча поднялся, не вызывая лишних сотрясений в воздухе, и отправился есть на кухню. Там, меланхолично что-то жуя, он внезапно осознал, что смотрит на тень от занавески на

стене и видит там женскую грудь. Он на мгновение перестал жевать, замер, но тут же спохватился и, дабы не вызывать подозрений, поспешно продолжил перемалывать вдруг совсем лишившуюся вкуса пищу, ощущая в кармане брюк предательскую теплоту телефона, готового, по мнению Семена Ивановича, в любую секунду взорваться звонком.

Ответ на смс-ку он получил только наутро, и он был отрицательным. Семен Иванович сник. Но сник не потому, что обидно было за ненужных никому котят, а потому, что увидел в этом отказе вообще нежелание общаться с ним. В мечтах ему казалось, что Зина дала телефон совсем не из-за котенка, а намекнула, что не прочь пообщаться с ним, и, что он, Семен Иванович, — Семен, как представился он ей, — привлекательный в ее глазах мужчина. Неприкаянно бродил он в этот день на работе, разбил даже колбу с реактивом, придумывая новый повод позвонить или отправить послание Зине. Ничего толкового и убедительного не придумав, он сочинил печальное стихотворение, где говорилось о грустных глазах Зины, необходимости помнить о своем возрасте и выразил робкую надежду, что он не так стар, как кажется, и даже обладает некоторыми, редкими в наше время, достоинствами. Перечитав заново свое творение, старший лаборант остался им доволен. Некоторые рифмы у него самого вызывали сомнения, но в целом звучало неплохо. «Может быть, когда-нибудь я прочту его Зине в приватной беседе», — не без самодовольства подумал он, и настроение его несколько улучшилось.

Вечером, лежа на отдельном диванчике в гостиной, волнуясь, он напечатал скромную смс-ку Зине «Спокойной ночи». Зина не ответила. Семен Иванович тяжело вздохнул и заворочался на своем ложе, особенно отчетливо ощущая неудобные перепады высоты под сплюснутыми от времени диванными поролоновыми подушками. Он долго не мог уснуть, воображая, что еще можно было бы написать,

не вызывая гнев у объекта своего обожания. Он уже обожал Зину, уже представлял ее рядом с собой, под общим одеялом, такую теплую и близкую. Близкую, какой когда-то была жена, отдалившаяся от него и презиравшая мужа за неумение жить, зарабатывать деньги, разговаривать с начальством и поддерживать связи с нужными людьми. Семен Иванович опять беспокойно перевернулся с боку на бок, — об этих отношениях с женой думать не хотелось, а хотелось мечтать о Зине, легконогой и молодой.

На следующий день на работе Семен Иванович осмелился и послал Зине сообщение: «Как дела?» Ответа не последовало. Не дожидаясь шести вечера, он уселся на скамейку около Зининого подъезда и стал выжидать, не замечая уходящего времени. Казалось, что пространство наполнилось особым качеством, обыкновенно не присущим ему, — ходили мимо люди, проезжали на велосипедах мальчишки, шумели машины, чирикали воробьи, но звуки доходили до него в каком-то приглушенном виде, как бы издалека. Не дождавшись Зины, он поднялся и пошел в сторону леса. По дороге он зашел в магазин и купил джинс с тонником.

«Он, наверное, хороший человек, — думала Зина про Семена Ивановича, вспоминая его неловкие телодвижения, — но я не смогу с ним... дружить. Ибо, что же еще можно сделать в этом случае? Полюбить его? А он, кажется, уже влюблен. Нет, полюбить его не смогу и к тому же — муж. Влюбиться? — это вообще невозможно, он мне неприятен. Физически неприятен. Я с ним даже общаться не смогу, отталкивает его внешний вид. Ну, вот, если бы он был каким-нибудь интеллектуалом, необычным человеком или просто меня бы необъяснимо притягивало к нему, то тогда, конечно, другое дело. А он выглядит неуклюжим пыльным мешком. Может, если бы он переоделся, тогда, может, гм, не так противно, гм-гм...»

Опьяневший Семен Иванович, гулял по весеннему лесу, все более и более приходил в оптимистичное расположение духа. Зина казалась нежной и несчастной в семейной жизни, ее хотелось приободрить, придать ей смелости. Она, наверное, никогда не могла бы сама решиться на интригу с неизвестным мужчиной. Надо ей помочь. Он решительно написал: «Зина, я хочу с вами встретиться тет а тет».

Зина с изумлением смотрела на смс-ку и написала ответ: «Зачем?» Дальнейший диалог в телефоне выглядел таким образом:

- Погулять вместе, поговорить, послушать птиц.
- Мне не очень хочется.
- Я прочитаю вам свои стихи.
- Я не люблю стихов.
- Тогда просто посидим в кафе.
- Если только вы переоденетесь.
- ???
- В рваные джинсы, яркую футболку.
- Я не тинэйджер и не какой-нибудь голубой кутюрье!
- Тем хуже для вас!

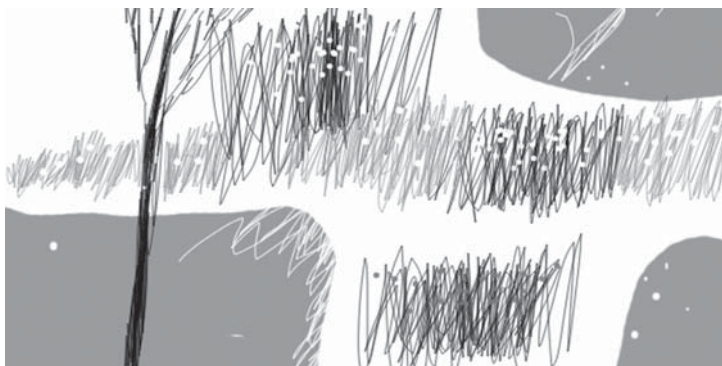
Вот так странно закончилась эта переписка. Семен Иванович к тому моменту выпил еще одну бутылку, в этот раз портера, и несколько разгорячился. Зина, показалось ему, предложила что-то немислимое — джинсы, да к тому же рваные! Он все-таки настоящий мужчина, а не какой-нибудь наркоман, хиппи, рокер или просто юный дурачок!

Зина к тому моменту уже почти уговорила себя пообщаться с Семеном Ивановичем. Такой одинокий и жалкий, что не обратить на него внимания и не приласкать его немного казалось ей почти преступлением. Но, к счастью, он сам стал дерзить и не пошел ее пожеланиям навстречу. Хотя, если даже он бы переоделся во что-то такое, что скрашивало впечатление от его внешности, то вряд ли это помогло бы по большому счету. Зина доверяла своей инту-



иции и чувствовала, что с Семеном Ивановичем их не связывает ничего, кроме, пожалуй, их внутренней бездомности и неписываемости в обстоятельства обычной жизни. Именно это и могло оказаться тем моментом, способным их сблизить, но этого было мало, слишком мало.

На следующий день рядом с подвалом соседнего дома Зина увидела котят, которые столпились и, смешно толкая друг друга, лакали из блюдечка молоко, налитое Семеном Ивановичем. Они были явно беспризорниками. Один из них, черный с белой салфеточкой на груди, немного прихрамывающий, особенно умилил Зину. Она его подняла с земли, посмотрела на его обкапанные молоком усики и прижала к себе. Котенка она взяла домой.



## Близь и даль

...Где, разве, только близь и даль  
Мешает странствовать по свету,  
Которого уже не жаль,  
Которого еще и нету.  
*В. Фролов*

Ночью была метель. Маленькая женщина в пестрой шапочке, закутанная в балахонистое серое пальто до пят и обмотанная вокруг шеи таким же пестрым длинным шарфом, медленно передвигалась по заснеженному полю. Она еле-еле переставляла ноги в серых солдатских валенках, проваливаясь в снег по колена. Через плечо у нее висела сумка из грубого холста, набитая под завязку. За спиной у нее — дальняя деревня с поднимающимися вверх столбиками дыма. Впереди — окраина города. Дорогу в город за-

несло, а трактор, сгребающий снег, по воскресеньям по обыкновенению отдыхал.

Это была я, напичканная немецким языком, философией, историей и музыкой хипповского движения, изобразительным и поэтическим искусством, иностранной литературой, русским фольклором, психоанализом, арт-терапией — всем тем, что впитывалось само собой в течение всей жизни. Зачем впитывалось, для чего, с какой такой таинственной целью — черт его знает! Весь этот багаж ныне и даром никому не нужен. История питейного дела, лечение самогоном, последние сведения, почерпнутые из ток-шоу, секреты внезапного обогащения, мобильные телефоны, умственная и душевная бухгалтерия, анекдотические новинки — вот, что по-настоящему необходимо человеку, решившему влиться и смешаться с человеческим обществом двадцать первого века в глубине российской. А значит, выпадаю я из него. Решительно и безнадежно. Кому еще взбредет в голову тащить по снежному полю, восторженно бормотать рифмованные строчки умерших и живых поэтов.

А иду я сейчас в город, маленький заштатный городишко. О нем писал в письмах Александр Вертинский, что, мол, пригласили его выступить в какую-то немислимую дыру, и он отказался. Отказался в основном из-за денег, алчный позер. А городочек, между тем, живописен и прелестно провинциален, где естественно смотрелись бы съемки фильма по Островскому на фоне двухэтажных каменных купеческих домов, потрескавшихся от времени, с облупившейся штукатуркой, украшенных башенками, витиеватыми наличниками, стоящих на берегу реки, в которую на самом деле впадает Волга. Реки, которая тянется сотнями километров плоскими и холмистыми берегами, окрашенными нежно и серо, украшенными травами и можжевельниками, темными молчаливыми елями, гречишными полями, одинокими рыбаками, солнцем и луной, звездами и метеоритами.

В сумке моей, холщовой, как я уже говорила, с ярко вышитыми длинноногими перуанскими животными и знаками ацтеков, помимо всего прочего лежит литровый термос с горячим кофе. Вытаскиваю его, обжигаясь, наливаю в металлическую отвинчивающуюся крышку и ставлю в снег, дабы варево остыло. Смотрю вперед — уже близко шоссе, по которому гремят грузовики. Издалека шум их приятен и лиричен. Заманчиво видеть себя мысленно где-то не в гуще цивилизации, а рядом с ней, едва зацепленной ее тлетворным бензиновым влиянием. По окраинам город застроен кирпичными хрущобами, блочными девятиэтажками и представляет собой безрадостное зрелище. Но я пойду мимо них, на остановку и поеду в старый центр города, где у меня дела, если это можно так назвать. Да, кофе уже остыл сильнее желаемого, но все еще пряно пахнет и дымится. Иду себе, вечер нагоняет на Прикамье среднерусскую задумчивость, плавно переходящую в печаль.

После полчасаевой поездки на автобусе я, наконец, оказалась на базаре, где уже никого нет. Под пустыми прилавками ветер гоняет мусор, газеты и пластиковые пакеты между лавками. Между ними бродит пьяная Павловна, пятидесятилетняя бывшая зечка, а ныне дворничиха и покровительница, как правило, еще более пьяного своего питомца сорокалетнего Ваньки. Павловна, по мере сил своих слабых, тщательно осматривает мусорные баки и изнанки торговых рядов, пытаясь выудить оттуда пустые бутылки. Она молча кивает мне и продолжает свой обход. Павловна всегда удивляла меня своим благородным видом. Ни ругани, ни воплей от нее никогда не услышишь, наоборот — даже под градусом всегда уравновешенная, немногословная, стоит себе, прищурив глаза, покуривает. Ванька же всегда шумно суетится, сквернословит, вечно кого-то разоблачает: ловкое начальство, подлых товарищей, грабительское государство. А сейчас он привалился к стене на крыльчке, нетерпеливо по-

сматривает на свою возлюбленную и что-то лихое и смелое бормочет под нос.

Усиливающийся ветер меня подгоняет к дверям «Капитанского бара», где я и отдохну, и обдумаю слова, которые скажу предположительно через пару часов. Внутри бара темно и подозрительно. В дальних углах шевелятся полукриминального вида личности, в ту сторону не всматриваюсь и особенно не опасуюсь. Я не в их вкусе, приставать не станут, а если и станут, то просто быстро уйду и все. Беру два поразительно дешевых пирожка с ливером и пятьдесят граммов «Рябины на коньяке», встаю подальше ото всех у высокого столика. Внутри продрогшего организма и снаружи его атмосфера теплеет. Только сейчас я почувствовала, что замерзла. Зябко было еще ногам и кончикам пальцев, но уже благодать разошлась по телу блаженной волной. Забылась, провалилась и растворилась. Пространство и время уже кажутся таинственными, полными вечных и временных загадок. Например, я так и не могу понять, любит он меня или нет. Пожалуй, пока это главная загадка. Второстепенных тоже достаточно - для чего меня пригласили в частную картинную галерею «Желтая рыба»; есть ли Бог; каким образом так все сложилось, что я снова очутилась в этом навеки когда-то брошенном мною городе и почему сейчас Боб Марли для меня так пленителен, как никогда, — вот сейчас, когда неожиданно здесь слышу его «но омен — но край». Здесь сидят мужчины, сбжавшие от женщин и их слез. Слез и по поводу их пьянства, скотства, блядства, неприязненных отношений с правоохранительными органами и мало ли еще чего другого. У них прямые, суровые разговоры, не стесненные присутствием дам. Жизнь проста и опасна, а во все остальное время весела и разгульна. Сама-то я уже давно не плачу, ибо «... в наши годы плакать невозможно, и каждый раз, себя превозмогая, мы говорим: «Все будет

хорошо». Собственно, сейчас даже очень хорошо. Вместе с посетителями в двери вваливаются клубы морозного воздуха и снега. На улице минус пятнадцать градусов. Я выхожу туда и вижу, что фонари уже зажглись и освещают опустевшие улицы. Спешу к галерее, приютившейся в древнем складском помещении на берегу.

Один мой знакомый художник просто изнывает от непонимания его публикой. «Тупые, — он говорит, — призывкли ко всякому галантерейному хламу: цветочки, салонные дамочки с загадочными улыбками и полуобнаженной грудью, а вот думать они совершенно не хотят. Мне так и говорят: не хотим мы думать, а хотим наслаждаться. Как они могут наслаждаться всякими банальностями, по сути своей вторичными, третичными, тысячу раз сжеванными и выкаканными?! Подавайте им виды родного города с элементами речного ландшафта и научитесь рисовать правильно, как, например, Иващенко, — чудный художник, у него такие милые дома старого города, с сиренями и скамейками, на которых мечтают пленительные дамы прошлого века». Я смеюсь и подливаю масла в огонь: «А кому нужны твои загогулины, якобы тайные каббалистические знаки на челе пророков? Масоны у нас вроде не наблюдают, все простой народ, потомки купцов и рабочих ликероводочного завода». Впрочем, дело не в наследственности, а скорее в том, что мой приятель дальтоник, который не различает зеленый цвет и коричневый, и без конца ссорится с только что намечающимися покровителями и своими же собратьями по ремеслу. Мне тоже мало везет, и я его понимаю, но не жалею.

Двери в «Желтую рыбу» призывно открыты. Нежно любимая мною богема, робкая, но и агрессивная, провинциальная, начитавшаяся «Праздника, который всегда с тобой» вкуче с Венечкой Ерофеевым и Харуки Мураками, насмотревшаяся всяких замысловатых фильмов, зарядившаяся

портвейном и коньяком, шумит внутри галерейки. Сегодня приехали поэты из ближнего зарубежья, то есть с другого берега и читают свои нетленные шедевры. Очень мило и это не шутка. Нравится, что все просто и без затей. Перепились, кто-то наверняка уже блюет в туалете. Было бы мне на пяток лет поменьше, я бы присоединилась к компании, а сейчас уже не хочется, ибо «одной ногой в гробу, другой — в могиле». Ирина мне объясняет причину приглашения — мне кто-то сделал заказ на изготовление портрета Александра Первого. Какой ужас, какой кошмар! Монархисты, ну, чего бы вам не заказать грушу на столике или лимон на блюдечке?! Так нет же, подавай вам убиенного царя и непременно маслом на холсте! Мне подробно описывают, в какой именно позе должен сидеть герой, в чем он одет и какого все цвета, и надобно принять во внимание тщательно соблюдение размеров колонны на втором плане. Меня начинает подташнивать. Классический случай — заказчик точно знает, что ему нужно и представляет в деталях будущее полотно. А я, естественно, не смогу заглянуть ему в черепную коробку и воспроизвести все его фантазии досконально. Кроме того, просто не люблю я этих царей. Отказываюсь. Была уже такая ситуация. Через силу рисовала что-то очень для себя дикое, и заказчица, поначалу утачившая картину домой, принесла ее на другой день, смущенно пролепетав, что она представляла все это как-то иначе. Имеет право. И я имею право малевать, как хочу, пускай даже это не купят. Все же с недоумением мысленно рисую себе этого странного для нашего города господина. Он, наверное, повесил бы мое творение в красный угол и смотрел бы на него, строго думая, что не хватает, де, твердой руки нашему распоясавшемуся мужику и распутившейся бабе. Еще наверняка затиранил придирами свою жену и детей, устроил дома самодельный домострой, а на работе насупливается и важно надувает щеки. Негодяй, одним словом. Негодяй и мерзавец.

Сегодня я здоровенькая. Меня все смешит — цари, мужчины и женщины, город наш захолустный, собственный вид и еще рыжебородый иерей, похожий на Ван Гога.

А религиозной становлюсь от болезней. Вот плохо мне, болею, умираю физически — так и морально загибаюсь, становлюсь развалиной и внутри и снаружи. Болею вся, и собственные жалобы и стоны надоедают. И знаю, что надоели всем. И лучше бы умереть вовсе. Мир идет мой наперекосяк, крошится, рассыпается. Верю — не верю. И уже не люблю, а только боюсь, как бы не напороться на гвоздь, который и не подставят, а так вот, торчит сам по себе. Печаль, скука, отчаяние. Ни любви — ни безлюбия, а какая-то слабость, беспомощность и безнадежность. Не лезьте ко мне, когда я такая. Помочь вы мне все равно не сможете, а на злость и хамство нарветесь. Тут постепенно до меня что-то доходит, и я начинаю понимать. Единственно хороший момент в моих бесконечных болезнях это то, что, действительно, тело вынуждено перестать грешить: бесконечно болтать, развлекаться хождением по людям, испытывать томящую от недостатка впечатлений скуку. Обложенный язык не чувствует вкуса пищи и есть уже почти не хочется, тем более что-то смаковать. Всякие амуры вызывают ощущение бессмысленности. Вся суета особенно кажется тщетной и честолюбивые мечты — достойными жалости, как что-то маловажное и отнимающее время от такой короткой жизни. Вынужденная и благодатная аскеза. Но, наверное, в том случае, если только, в конце концов, худо-бедно выздоравливаешь. Но сильные могут оставаться и больными.

Начинаю изучать уже не Генри Миллера и Маркиза де Сада, а писания духовных столпов. В тот момент, когда читаю Серафима Саровского или Нила Сорского, понимаю, что есть вещи, которые важнее искусства, и тогда талант меня покидает. Вижу, что и не талант это был, а малость какая-то. Иначе не покинул бы, а как-то видоизменился,



проникся бы новым духом. А выходит так, что я все бросаю. Картинки, открытки, альбомчики сразу жалкими видятся. Все внешнее, особенно красивое, искусно сделанное, кажется безделками, отвлекающими от важной цели — спасения души. Поэтому начинают раздражать золоченые купола, расшитые золотом робы священников, изукрашенные камнями да драгоценными металлами церковные причиндалы. В другом бы каком месте — пожалуйста, а здесь, где особенно должно бы почитаться не внешнее, а внутреннее — вся эта роскошь кажется даже не то что не нужной, а отвратительной и противоестественной. Если не можете, господа священнослужители жить, как лилии полевые, то разговаривать с вами не о чем.

Справедливости ради следует сказать, что никто из них и не лезет ко мне с разговорами. Внимательны и любвеобильны только свидетели Иеговы, они вон там всегда стоят на перекрестке улицы Раскольниковова и Тургенева, две добрые старушки с журнальчиками «Сторожевая башня». Они каждый раз меня ошарашивают новыми вопросами: знаю ли я, например, что число детских беременностей растет и что делать в этой связи? Не знаю, право, и не уверена, что мне это надо знать. Я, конечно, могу узнать, и тогда мое дальнейшее бездействие в этом отношении будет, видимо, преступным. А какое тогда другое действие будет не преступным? Или вот узнала я из их журнальчика, что четыре миллиона афганцев безногие, так как подорвались на минах, раскиданных по пустыням и горам. Рассматриваю фотографии жалкого лазарета, на которой две сотни мужчин на костылях в ожидании протезов, измученная ближневосточным климатом европейская женщина-врач неутомимо объясняет им, что протезов на всех не хватает, надо подождать год или два. Может, мы уже бесимся с жиру или еще нет? Может, не так уж и важен цвет обоев в гостиной, и чтобы с ним сочетались шторы и картины на стенах? Может, напле-

вать на то, что потрепана обувька и волосики на голове вылезли? Можно ли оставаться отстраненной от чужих дел и поступков, не мыслить и не говорить о них, забиться в келью под елью или в башню из слоновой кости и спасти свою душу? А если нет, то что же, ехать в Афганистан и заняться разминированием? Или бросить к черту свои картинки и пойти помогать дряхлым пенсионерам стирать белье, отдавать себя людям? Бесят они меня порой, и я их раздражаю. И говорю себе тогда: «Прости его — у него агрессивный эпилептоидный психотип, ну не переделать его. Прости ее — она всего лишь истеричная женщина, и мать у нее такая же. Прости их — они неврастеники, не могут сдерживаться. Прости вороватых и алчных — нет у них нравственного чутья с рождения, они тоже хотят жить красиво. Прости убийцу — детство у него было трудное, поэтому и мстит людям, а ты попался случайно. Прости, прости, — как будто кто-то провинился предо мной или просит прощения, или я им что-то всем должна». В общем, не хватает мудрости и терпения и в какой-то момент перестаю воспринимать всё и всех. Как хорошо идти по длинной-длинной дороге по берегу реки... Пускай живут, как хотят, как выбрали сами. Как можно помочь человеку, если он сам этого не хочет, если ему и так неплохо. Как кому-то помочь, если себе никак не могу пособить?

Много вопросов и поводов, чтобы поспорить, а сегодня мне это не надо, — так что обойду на этот раз старушек и отправлюсь либо к Сцилле, либо к Харибде.

Сцилла, — так я мысленно называю свою почтенную одноклассницу Любу. Почтенную, потому что она мать-героиня троих детей. Преисполненная святой мечтой нарожать как можно больше ребятишек, ей, как она считает, страшно не везет с мужьями, которых у нее было три человека. Первый черноокий и веселый красавец оказался типичным алкоголиком, он ее одарил первенцем Гошкой. Второй уда-

лец-бизнесмен оставил ее на седьмом месяце беременности и дочка Дашка напоминает о нем и его подлости. Третий, пока последний, супруг, осчастливил ее Вадиком и осточертел ей до того, что она готова развестись, но здравый смысл ей подсказывает, что четвертый муж может и не появиться. Моя матрона, кажется, решает все вопросы в доме путем скандала. Вот сегодня они угрожающе молчат, ибо поссорились накануне. Как объяснила Любаша, Коля поехал к свекрови и не взял с собой Вадика, а ей хотелось побыть немного одной. Одна она никогда не бывает — это точно. Вечно под ногами кто-то крутится. Весь день она то варит-парит, то шьет-порет. С утра бежит кормить кур, днем — по магазинам, вечером — уголь таскает для печки. Живут они в своем доме, — так что дел хватает. Эти люди мучают друг друга, думая, что таким способом, под давлением своего садистского пресса выжмут из другого нечто, что сделает их счастливыми. Она требует от мужа организовать ей райскую жизнь, а он — от нее. Причем понимание счастья и способы его достижения у них расходятся. Я никак не надивлюсь ее энергии, перерастающей в какую-то одержимость. «Люба, — говорю ей и на этот раз, — сядь на стульчик, отдохни и поговорим». Правда, о чем поговорим, я не знаю. Разве что о детях, на которых надо так много денег. Каждый раз я спрашиваю ее четырехлетнего сына, что он узнал о мире и жизни в прошедший день, надеясь, что он мне расскажет что-то, что я не поняла за все свои годы. У меня есть идея, что дети видят то, что уже не вижу я. Вадик сдержанно помалкивает, а Люба не садится, она налита ядом. Она мчится на кухню и начинает разбирать замороженную картошку. Я ей помогаю чистить картошку и чувствую, что сегодня у них лучше не ночевать.

Откланиваюсь и отправляюсь к другой крайности, Харриде, или точнее к моей приятельнице Людмиле. Пару лет назад она, оставив мужу двоих детей, пустилась в поиски

идеального мужчины. Регистрировать отношения со своими «женихами» она не собирается, — все не то, не совершенство, не суженый. А какого совершенства она ждет в тридцать девять лет, украшенная диким характером, своеобразными представлениями о взаимоотношениях полов и морщинами?! Сейчас она увлечена сахаджа-йогой. Ходит на собрания, танцует индийские танцы с колокольчиками, изучает Бхагават-Гиту и бессмертные творения Рериха. Вчера ночью она пешком пересекла покрытую льдом Каму с изготовленным из кожи амулетом, призванным защитить ее от «отрицательных энергий». В три часа ночи, как она определила согласно своему «вещему» сну, некая таинственная «богиня-мать» намерена передать ей часть своей «сострада-тельно-космической силы» точно на линии середины реки. Кажется, все получилось. Сила, как уверяет Люда, должна в ней созреть и проявиться в ближайшем будущем. Спрашиваю, есть ли у нее чай. К сожалению, закончился, есть только «великолепная белая глина», которую она нарыла где-то в святых местах. Поклонница Рериха предлагает без всяких шуток попить взвесь чудодейственной глины в воде и придется, видимо, мне почистить самую нижнюю чакру, так как ее настораживает мой «неестественный голод» в одиннадцать часов вечера. Чудная Люда, мне с ней не скучно, за исключением случаев обострения ее парапсихологических способностей. Как-то в таком состоянии она вообразила, что силой духа сможет перековать сознание двух придурков на машине, увлеченно катавшихся по школьным газонам. Так как слова не подействовали, она схватила палку и разбила лобовое стекло. Удивительно, что ее не покалечили, а только поставили фонарь под глазом. Сила устрашения, значит, в ней какая-то все же присутствует. И вообще, по сравнению с Сциллой, Харибда вызывает у меня более радостные эмоции: всегда бодр и уверена в себе, ничто ее надолго огорчить не может, а ее невероятные наряды (спи-

тое собственноручно из зеленого одеяла пончо и чалма на голове, повергающие в шок на девяносто девять процентов неподвижное население прикамского городка) вызывают у меня уважение к ее почти безграничной независимости от общественного мнения.

Я иду в ночной магазинчик и покупаю хлеб, масло, чай и сахар. Люда деликатно намазывает масло на маленький кусочек и рассказывает, как ее бывший муж, сатрап и деспот, терроризировал ее всю жизнь, заставляя каждый день готовить вредную, из «трупного мяса» пищу. Он, будучи биологом по образованию, никак не мог понять и профинансировать ее благородное, спасительное для семьи желание уехать в деревню и завести там «экологическое поселение», что-то навряде коммуны с единомышленниками-анастасийцами, где она рассчитывала самостоятельно выращивать лен, ткать полотно, шить народные костюмы, воспитывать детей в духе уважении к земле и родителям, по вечерам устраивать посиделки с народными песнями, танцами и играми, исцелять людей глиной, солью и кедровым маслом. На самом же деле, ей никогда не удавалось на даче вырастить хотя бы один помидор или огурец. Заросшие бурьяном морковки чахли, а лебеда и амброзия достигали немислимых размеров.

Бывший муж требовал алиментов, и она задумала научиться рисовать и писать на заказ «лечебные портреты». Собственно, учиться она не хотела, так как была уверена, что рисовать, равно как и все остальное, она и так умеет. Про ее портреты я лучше промолчу. Признаться, я немного завидовала ее убежденности во всех этих фантастических проектах. Но на провокации помочь перевоспитать, например, представителей городской администрации, сделав их счастливыми, которые в свою очередь облагодетельствуют ее крупным вознаграждением, я не поддавалась, чем частенько вызывала ее разочарование и даже гнев.

В последнее время я перестала искать формы жизни и людей, кардинально отличающихся от обывательских представлений, которым могла бы подражать, ориентироваться на них в надежде, что они существуют, испробованы и не мечты пустые. Никакая жизнь не испробована, пока не прожита до конца. «Ничего не искать, ни от чего не отвращаться». Ты сидишь на краю дороги, по которой текут люди и события. Кто-то подходит к тебе, спрашивает, который час и отходит. Другой внимательно смотрит тебе в лицо, останавливается, садится рядом, достает из дорожного мешка хлеб и сыр, тебе предлагает. А вот промчалась колесница с музыкой, цыганами. Не побегу за ними. Музыка не для меня играет. Их музыка, не моя. А моя музыка теперь со мной. И хотя она не слышима миру, но кажется вернее пустых забот и страстей. А какие заботы не пустые? Которые мои, а не чужие.

Так идти к нему или нет? Слов никаких новых я не придумала и не решилась в этот день заглянуть к тому человеку, кто по прошествии семи лет отпустил меня из самого ближайшего своего круга. Кто меня гипнотизировал и воспитывал, слепив в конце концов человека, непригодного к жизни на просторах камского бассейна и любого другого. Сам же он остался незамутненным мной и даже как бы непричастным к моей судьбе. «Ты меня в чем-то упрекаешь? Не делай этого никогда, не жалуйся — посмотри на меня высокомерно и как бы нехотя улыбнись и иди себе дальше». Так я и сделала. Но он во мне остался, как твердый орешек в сердце. И не расколоть его, и не выкинуть, да и как это сделать, если до сих пор в чем-то важном — опора, если это было лучшее в жизни — любовь. Тогда я еще не понимала, что сама выбрала себе его на роль гуру, поставила себя в довольно жалкое положение восхищенной поклонницы, выбрала любовь-страдание. И сейчас я его любила (или это была благодарность?), как человека, окунувшего

меня в мертвую и живую воду, открывшего мне во всей красоте и жестокости мир другой вселенной. Я стала сама собой, сначала растворившись в нем, а потом освободившись от него. Сейчас мы с ним были двумя кометами, несущимися по своим траекториям, издали подмигивающими друг другу.

Осталась у меня только мама. Тихая учительница младших классов на пенсии с косой кренделем на затылке. Возделав меня, теперь она занимается своим огородиком, астрами, садовыми фиалками и белыми пионами. Иду к ней вдоль заборчиков и одноэтажных деревянных домиков. «Мне нравится, если дом, где женщина живет в одиночестве, имеет ветхий, заброшенный вид. Пусть обвалится ограда. Пусть водяные травы заглушат пруд, сад зарастет полынью, а сквозь песок на дорожках пробьются зеленые стебли... Сколько в этом печали и сколько красоты! Мне претит дом, где одинокая женщина с видом опытной хозяйки хлопочет о том, чтобы все починить и подправить, где ограда крепка и ворота на запоре», — это я цитирую маме в утешение Сэй-Сёнагон. Тем не менее, беру лопату и разгребаю снег во дворе, приношу из колодца воду в ведрах и заливаю в железный бак печки. Мама заваривает чай со зверобоем и предлагает мне попробовать шанешки. Печален и светел этот мир без мужчин, без детей, без бурностей, скандалов, неистовой радости, насилия, без интенсивных красок. Робкие линии, полутона, редкие звуки, слабые запахи. Я почти ничего не рассказываю и слушаю ее. Вот сегодня она видела свиристелей на яблоне. У соседа топится баня, и дым высоко уходит в небо, значит, ветра нет, и предвидится ночью мороз. Мама вдруг вспоминает, что хотела мне подарить халат, который она сшила по журнальной выкройке. Халат с ближневосточным уклоном, к нему прилагаются штаны. Шалвар-камиз или костюм-пенджаб? Я смотрю на себя в зеркале и вижу восточную женщину с грустными

глазами. Женщину из разоренного гарема, лишившуюся тирана-покровителя, потерянно и одиноко стоящую посреди пустыни. Женщину, стоящую на границе нового мира.

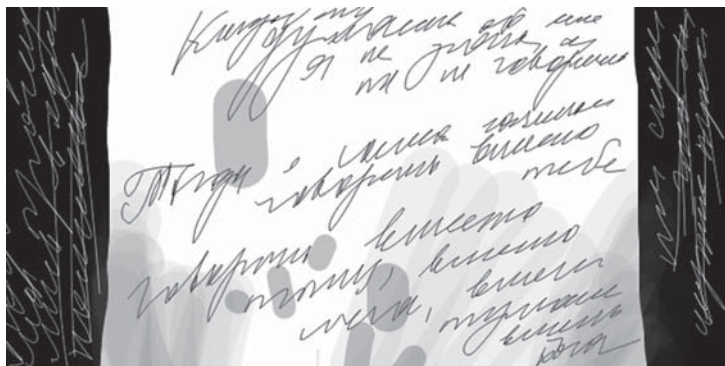
«...День меж тем к концу подходит, в красный терем спать уходит солнце красное с небес...», — я прощаюсь и пускаюсь в обратный путь, в свое общежитие, в комнату на одного человека. Мы с мамой любим друг друга, но вместе жить никак не можем. Она — жаворонок, а я — сова. Она смотрит целый день телевизор, а я его терпеть не могу. Этого уже достаточно, чтобы вносить в жизнь друг друга ноту отчуждения. А вот так, не видя друг друга по неделе, нежность и родство только усиливаются.

Мне кажется, что дома у меня никогда не было и, может быть, никогда не будет. Не было стен, которые бы поддерживали меня тем, что они мои, что могу с ними сделать все, что хочу: покрасить, наклеить на них страницы из старых музыкальных нот, или позволить старым обоям свисать лохмотьями. Я никогда не могла устроить дома вечеринку или оргию, скромную безобидную оргию из десяти человек на всю ночь. Никогда я не могла послушать музыку на полную катушку, когда мне вздумается. Не имела права покрасить двери и подоконники не масляной краской унылого белого цвета, которая через год становится желтоватой, а какой-нибудь вододисперсионной ярко-синей с грубыми вкраплениями мела. Никогда не удавалось самоуверенно и грубо настоять на своем. Много чего не могла позволить из того, что бы сделало меня на тот момент по-настоящему счастливой. Бесилась-раздражалась-смущалась при одной мысли, что меня кто-то не любит, если не помогает мне почувствовать себя хорошо. А ведь, если задуматься, никто на этой земле не рожден с единственной целью реализовать наши мечты и фантазии, услаждать нас и радовать, даже родные мама и папа, а, значит, и упрекать, получается, некого. И я тоже к своему облегчению наконец-то почув-



ствовала себя не средством реализации чьих-то планов. Прошло много лет, пока не случился переворот, маленький революционный переворот в голове, когда вдруг воображаемые стены переместились внутрь меня, и не обстановка снаружи, но что-то внутри стало поддерживать. Вожде ленный собственный дом стал внутренним убежищем. Отсутствие внешнего комфорта превратилось в предмет медитации, коан, который я должна решить. Не могла решить раньше потому, что не хотела. А не хотела потому, что надо мне что-то другое. Задачку понять, как жить с этим, что существует всегда и корежит душу и нервы. С тех пор я перестала стараться воспарять душой над обстановкой, мусором и дерьмом в подъездах, куражающимися подростками и великовозрастными хамами, а стала проходить мимо, при этом стараясь никого не задеть и самой не касаться чуждого. Некрасиво летать над людьми, как будто ты ангел, а они — грязь под ногами. Лучше пройти мимо, это не так горделиво и гораздо менее утомительно.

Во дворе дома напротив замечаю соседа, странного мужчину, фотографа и пчеловода. Почему-то мне кажется, что когда-то мы с ним столкнемся и сойдемся теснее. Но я не тороплю события. Все произойдет само собой. Когда я этого захочу, когда пойму, нужен ли мне он такой, какой есть. Мой вероятный будущий муж, приятель, любовник, враг, равнодушный наблюдатель мелькает в окне, поправляет шторы. Я машу ему рукой и не спеша скрываюсь из его глаз, женщина в сером пальто и пестрой шапочке.



## Записки на обратной стороне холста

Записки из мертвого дома,  
Где все до боли знакомо,  
Вот только смеяться грешно —  
Из дома, где взрослые дети  
Едва ли уже не столетье,  
Как вены, вскрывают окно...  
*А. Сопровский*

\*\*\*

Я живу в маленькой темной камерке с окнами, выглядывающими на мир божий из-под земли. Некрашенный деревянный пол, белые стены, потолок в рытвинах и ухабах. Кроме этого есть стол, табуретка и что-то похожее на нары. Как-то так счастливо устроилось, что за эту бедность платить не надо, — кажется, эта комнатка мне досталась по наследству от бабушки. Соседи шуршат за стенами, как

мышь. Они меня не любят, и это взаимно. По утрам пью крепкий чай, читаю старые книги и, если это лето или ранняя осень, еду на море и слушаю крики чаек, колокольный монастырский звон и шум волн, который как будто стирает обрывки мыслей. Назад в город поднимаюсь по высокому берегу, заросшему полынью. Ее запах — это горький запах моей свободы на теплом ветру.

\*\*\*

Добро и зло. Что это такое — не всегда можно разобрать. Но вот позавчера я кое-что поняла.

Тот день я провела на брошенных огородах, — собирала укроп, лук, нарвала немного картошки и набрала целый пакет яблок. Поздно вечером тащила полную сумку по темным городским улицам. В окнах горел свет, там мелькали силуэты незнакомых, навсегда незнакомых мне людей, мелькала таинственная непонятная жизнь. В общем, меня оглушили по голове чем-то железным, обшарили карманы и вытряхнули дары природы из сумки. По-моему, это и есть то самое зло, о котором говорят люди.

\*\*\*

Вчера у меня болела голова. Я читала книгу, автор которой утверждал, что истины не существует. Ощупывая существенную шишку на голове, подумала, что она болит по-настоящему, даже осенний пейзаж за окном не радует.

Хорошо, что туалет в моем доме не на улице, — больному человеку трудно подвергать себя испытаниям низкими температурами. Скоро зима.

\*\*\*

Пришел как-то ко мне товарищ по старой жизни. Сейчас он продает из большого черного баула разные ненужные мне вещи. Ему стало грустно от моей нищеты сначала

потому, что я не могла ничего купить у него, а потом он пожалел меня просто так. Ну не совсем просто так — ему стало жалко себя и свою семью, так как если бы они все вместе попали в мое положение. Он спросил меня, часто ли я ем. Чай в желудке предательски булькнул, и я вдохновенно соврала, что, мол, почти каждый день ем голубцы со сметаной и торт Наполеон. Не знаю, поверил ли он, но ему стало легче.

\*\*\*

Все же признаюсь, что иногда одиночество меня угнетает. Да, я же еще не говорила, что у меня где-то есть муж и дети. Двое детей — девочка и мальчик. Они от меня все ушли, они сказали мне, что я их не люблю. Неправда. Моя любовь к ним не красного цвета, а розового, что ли. Они ушли к женщине сильной и радостной, которая целый день может варить, штопать, вязать, мыть полы и подоконники, работать в конторе, а огородов у нее — целых три. А я их все равно люблю и всегда жду, что они вернуться.

\*\*\*

Совесьть у меня есть, но она никуда меня не зовет. Другое дело — раньше, — голос звал меня на баррикады, убеждал бороться с воровством и насилием, уважать стариков... А сегодня голос мой как бы шепчет невнятно и почти безумно. Он меня саму пугает. Стало быть, останусь там, где сейчас пишу эти строки, то есть на топчане, покрытом прожженным одеялом. Не я прожгла, а прабабушка еще до революции.

Чиста моя совесьть.

\*\*\*

Всю свою жизнь я страдала от хронического недосыпания. Мой ослабленный организм требовал спать девять, иногда десять часов. С этим прискорбным фактом не могли

смириться ни детский сад, ни школа, ни родители, ни институт, ни госучреждения, ни муж, ни дети, ни родители мужа. Им непременно хотелось разбудить меня, мягко усовестить или тяжко оскорбить, тем самым вовлекая в бодрый ритм жизни страны. Хотелось, чтобы я сделала что-то полезное... А эта самая жизнь убедительно доказала, что существо я бесполезное. Вот так прямо всем вам и заявляю: бесполезное. Самой от этого невесело...

\*\*\*

Глядя по сторонам, видела, что все чем-то очень дельным заняты: точат гайки, ведут переговоры, меняют мебель в доме, ездят в Индию, организуют выставки и концерты, флиртуют, готовят салаты из кальмаров, очаровывают покупателей... Посреди всего этого всегда тянуло выйти на свежий воздух, посмотреть на облака, звезды, молодую весеннюю травку и стать существом неодошевленным и непричастным ко всему, чем жива простая человеческая жизнь. Что это — влечение к смерти? Но умирать-то как раз и не хочется. Претит участие в битве за хлеб. Хочется жить всегда, вечно. Просто дышать, ходить, слышать, видеть, изредка говорить, а то и песенку спеть и никого не побеждать. «Примитивно, — скажете вы. — Существо ты, видно, бесхребетное, нежизнеспособное». «Ну и пусть, — отвечу, — жалко только, что счастье мое такое недолговечное — глазки потускнеют, ручки-ножки скрючатся, дышать буду на ладан, а говорить уже сейчас, кроме Бога, не с кем».

Пойду-ка я в магазин, куплю бутылку сухого виноградного вина и выпью одна под дождем. В левой руке — бутылка, в правой — зонтик.

\*\*\*

Есть у меня один знакомый художник, горько презиращий людей по простой причине — работы его почти не

продаются. А он между тем талантлив. Подозреваю, что и после смерти мир о нем не узнает. Жизнь его тиха, незаметна. С нужными людьми не водится, с пиаром не дружит. Стоим мы с ним как-то ночью на пристани. Звезды намекают на что-то вечное, волны безмятежно плещутся о причал, и нет никакого дела до нас божественной природе. А он роняет пьяные слезы по упущенным возможностям и женщинам, рыдает по утраченному времени и надеждам. «Ну ну, не надо...» — успокаиваю его, как могу, и хлопаю по плечу, желая ободрить. Но он безутешен.

\*\*\*

Для чего рассказывать миру о своей боли, о неминуемой старости, о своих фобиях и бессоннице, о потерянном ребенке, об умерших родителях, о нищей перспективе, о мальчике с ДЦП, ползущем по грязному полу больницы, об отворачивании к себе и согражданам, о том, что дома у тебя не было и не будет, об отверженности, о потерянном рае?! Зачем умолять о сочувствии, взывать к состраданию? Глухо и молчаливо, с гримасой скуки встретят твои вопли и стенания. В песок уйдут твои слезы и жалобы. Молчи, улыбайся, не падай в обморок, не закатывай истерик, не делай жалкое лицо, и мир облегченно вздохнет — не нужно ему напрягаться, отворачиваясь от твоего тоскливого взгляда. Веселый грустного не понимает. А у другого такого же печальника кожа давно задубела, не до тебя ему. Неси свой крест сам, бедолага, в Бухенвальде было похуже.

\*\*\*

Жую кусок Наполеона и пью кофе Кайзер-Меланже, то есть с молоком, взбитыми сливками и свежим яичным желтком(!). Поглядываю в окно, там — Япония. Тяжелые, влажные хлопья снега лежат на ветках карагача, кустах шиповника, сухих метелках неведомой мне травы. Вот прошел

сосед, укутанный плащом, со свирепыми самурайскими глазами. Румяная трехлетняя девочка лепит снеговичка, рядом стоит скужающая мама в зимнем кимоно, курит.

\*\*\*

Темные декабрьские дни в моем провинциальном городке бесконечны и тревожны, если смотреть на них из окна. Но стоит выйти за двери, сесть в автобус и поехать прямо на пустынную набережную, то тревога рассеется, обнажится пустота мира и собственная. И на душе становится спокойно.

В таком состоянии главное не забываться и осторожно обойти стороной одинокого мужчину, мочащегося у обочины дороги.

\*\*\*

Иду я по просеке лесопарковой зоны. Справа — сосновый лес, слева — лес сосновый. Посреди просеки — заросли рябины, островки сухой травы. Метет, небо туманно-серое. Иду себе вперед, вспоминаю рассказы шаламовские да солженицынские. Зека как будто я, политзаключенная, и ведут меня на лесоповал охранники с овчарками. Даже самокрутку захотелось закурить на ветру, вспомнить дом родной, поля пшеничные, тропинку по берегу реки широкой, солнце закатное в небе цвета топленого молока. Да не дают остановиться приклады, в спину толкают.

А хорошо-то как — нет никого, кроме меня. Иду и иду, далеко еще идти. Пренебрегая общественным транспортом, пробираюсь лесом с одной окраины города на другую. И цель у меня есть какая-то ничтожная.

\*\*\*

Вчера Новый год праздновала, подпитала чуть-чуть свои языческие корни. Снега выпало — пропасть! Исчезла куда-

то пронзительность и сиротство, появилась уютность и пушистость. А ночью-то салюты осветили мою жизнь. В трансе каком-то наблюдала свет и блеск в небе. Действует не как изобретение пресыщенного человеческого ума, а как могучее явление природы. Северное сияние, наверное, так завораживает полярников и пингвинов. Падают они прямо спиной в сугроб и задирают головы в небеса, и цепенеют, и души их вспыхивают и замирают, и далеко-далеко они от самих себя...

\*\*\*

Зашла как-то по делу в маленькую психиатрическую больницу. Не ожидала, что обычные, ну, немного психованные люди достойны серьезного лечения. Если они шизофреники, то кто же мы (имею в виду себя, моих ближайших родственников и бывших друзей) — параноики или просто маньяки? Наверное, болезнь не лечится, но надо как-то ужиться с ней, полюбить ее, помочь ей, разгадать ее тайное предназначение. Для чего-то Бог наградил нас всем этим.

\*\*\*

Что делать так называемому простому человеку, прихворнувшему шизофренией? Ничего хорошего ему не остается. Он становится изгоем. Сослуживцы от него шарахаются, начальство опасно посматривает, соседи смеются, показывают пальцем. Дело дрянь. Не нужна шизофрения простому человеку. И совсем все наоборот, если заболел этим художник или, скажем, поэт. Он окрылен! Ему открываются такие дали, такие глубины... Зря, наверное, опасался Пушкин сойти с ума, идеализировал и суму, и тюрьму. Какой простор сегодня открыт для сумасшедшего. Причем если он буйный, то это явное преимущество, — чиновники буйных побаиваются, сразу им дают деньги, например, на новую книгу, то есть откупаются от их навязчивого внима-



ния. А тихие тем временем сидят в своем углу и сладко-сладко грезят. Ни бандиты, ни социальные пертурбации им нипочем, не надо тратить на водку и наркотики — в голове и без того цветут незабудки, играет кларнет...

Конечно, на случай обострения в шкапике должна стоять валерьяночка или пустырник какой.

\*\*\*

Тихо как сегодня. Мышь вот только скребется в углу. Хорошо, когда есть свой дом, пусть одна только комната с кухней, но зато с отдельным входом-выходом. Хотя никто особо не зайдет — не выйдет. И сегодня мне это нравится. Смотрю, как водится, в окно, наблюдаю там ясный безветренный день. На снегу синие тени Грабаря — февраль, значит. Собака прогавкала, кто-то прошел за забором. На колодце бабы звенят ведрами, несут на плечах коромысла, переговариваются весело... Про баб-то я, конечно, сочинила — не деревня все-таки, колодцев нет.

\*\*\*

Вечером достаю с полки мешочек таинственный. Там у меня сухая трава донник. Полезная при болях в кишках различной локализации. И при меланхолиях — депрессиях тоже, между прочим, дает положительный эффект, если залить холодной водой две чайные ложки на стакан. А я ее обоняю или попросту нюхаю, когда нет насморка. Пахнет донник, доложу я вам, божественно. Пахнет он июлем и августом, бездонным летним небом, облаками над Волгой, полями бескрайними и почти ничейными. Счастьем он пахнет, одним словом.

\*\*\*

Знавала я в своей жизни людей загадочных, внешне совсем простеньких. Одна девушка с длинными светлыми

волосами, она все пела под гитару sentimentальные романсы, ходила длинными шагами, джинсы на ветру раздувались волнами. Пили мы с ней сухое белое вино прямо на центральной улице крупного купеческого города и одновременно продавали картинки. Маленькие такие, туманные акварели. На них все больше дзен-буддийские сюжеты присутствовали — пустота в различных вариантах. И ведь покупали! И вдруг напечатали ее рассказы в «Юности» на первых страницах. Изумились все, приглашали поучаствовать, в жюри поприсутствовать, осчастливить, а она исчезла. Куда, с кем — во мраке все это осталось.

Про старика одного, бродягу, нищоброта, как он сам себя называл, и рассказывать не буду. До сих пор не знаю, кто он, гений или просто отчаянный и хитрый нищий, или то и другое вместе взятое.

\*\*\*

Сегодня я, наверное, сопьюсь. Неожиданный поклонник подарил страшно дорогую бутылку вина. С ним-то я пить, конечно, не стала. О чем с ним говорить? А для меня это главное, между прочим. Хотела поначалу вообще отказаться от подарка, учитывая мою почти по-монашески устроившуюся жизнь, но передумала. Неустойчивая, значит. Теперь вот пью, глядя в окно на, как сами помните, грабаревские тени на снегу. Признаться, не хватает этого дурачка, посмеяться с ним хочется немного.

\*\*\*

Я всегда ущемляла кого-то. Сама того не ведая, вставала на дороге чьих-то мечтаний и желаний, не отвечала их представлениям и ожиданиям. А что и говорить, когда я почувствовала в своей душе легкое дуновение свободы, вдохнула всего лишь малый ее глоток, пожертвовав безопасностью, которой, в общем-то, и не было. Окрысившиеся

лица родственников, непонимание и отвращение со стороны знакомых, безгласность друзей. А ведь я не клянчила у них денег, не вставала на большую дорогу с топором, не бросалась ни на кого с ножом. Перестала быть удобным объектом манипулирования — вот что. Выпала из товарно-денежных отношений. А что будет дальше? — такой вопрос задаю я себе самой. Ну, может быть, еще и вам.

\*\*\*

Наблюдая за своими безумными и не очень безумными товарищами по искусству, заметила, что они в целом придерживаются двух подходов в творчестве. Для одних актуален шаманский, что ли, прием. Они растормаживают свое подсознание водкой, девушками, дикими прыжками и рычанием, и затем приступают к священнодействию — бьют в бубен или разбрызгивают краску по холсту. Другие, наоборот, приводят свои дикие мысли в упорядоченное состояние, успокаивают себя, как могут, молитвой, медитацией, теплой ванной и затем творят. Разное состояние тела приводит к извлечению разных состояний и фиксации таковых. В результате мы имеем два вида продукции. Первые — это расхристанные, полные огня и страстей работы. Вторые — созерцательные, уравновешенные полотна жизни. Что лучше? Все зависит от темперамента и состояния нервов. Так у меня, во всяком случае.

\*\*\*

Давно перестала мыть пол и бороться с пылью; стираю белье весьма и весьма редко; у меня есть два платья — полотняное и шерстяное, к ним пара антикварных ботинок; со стен сняла все картины, кроме одной; денег мало, и они заканчиваются; побрила голову наголо и нечасто ее мою; маски для лица не делаю; ногти стригу регулярно; готовлю щи, кашу с маслом и люблю сладкие яблоки; часто простужа-

юсь; хандрю через день; к полноте не склонна; бальзаковский возраст, проституткой трудиться не позволяет здоровье и отсутствие задора. Кто возьмет меня замуж, убогую?

\*\*\*

Приходил в гости бывший муж. Умолял вернуться, падал в ноги. Рассказывал, какая у него противная жена, как он безмерно страдает от ее мещанских замашек, от ее маниакального желания, чтобы все «было прилично». Он с жадностью хватал меня за руки, страстно и одновременно робко заглядывал в глаза. Но я была непреклонна, гордо отворачивалась от его подарков (милых довольно), смотрела куда-то мимо. Он, горестно склонив голову, неверными шагами (он был, конечно же, пьян) побрел из моего дома...

Расфантазировалась я что-то. И все-таки, зачем я ему понадобилась?

\*\*\*

Тыквы, дыни, кабачки, помидоры, капуста, баклажаны, лук, чеснок, морковь, редиска, салат, укроп, огурцы, помидоры, картошка, виктория, смородина, крыжовник, малина — вот что выращивают в русских огородах, как я рассказывала японцу, остановившемуся полюбоваться моей клумбой с декоративным восточным луком. Он восхищенно покачал головой и спросил меня, видела ли я Фудзияму? Как не видеть, — конечно, видела.

\*\*\*

Моя бабушка была родом из Нормандии. Бедная гувернантка в купеческом семействе. Соблазнил ее не купеческий сынок и не приказчик, а задрипаный адвокатишко. Он читал ей стихи по-французски и пел революционные песни. Сошелся с балериной, бросил бабульку и уехал в Германию. Оскандалившейся девушке отказали в «благо-

родном семействе», выставили ее чемоданы на улицу. Официантка в ресторане, горничная в гостинице, мойщица посуды в советской столовой. Полюбил ее рабочий с окраины. Тихое житье, пятеро детей, православный крест на кладбище. Загадка какая-то таится в ее судьбе, молчаливая мигающая звезда.

\*\*\*

Провожала на вокзале чужого мужа. Он не замечал моих глаз, выглядывающих из-за грязной коринфской колонны. Курил сигарету, поглядывал на часы, выходил на перрон. Его больше никогда не увижу, если только не поеду за ним в Шанхай, куда поезд отходит через полчаса. А пока я смотрю на него, на постороннего, в сущности, человека, который так и не догадался, какую роль сыграл в моей жизни. Но он ее сыграл, и судьба моя отныне покатилась по другой дорожке. Так смешно выглядело все со стороны, даже глупо. Можно сказать, что внутри обрывалась какая-то нить, а можно и не говорить. Просто бессмысленность мира так явственно высунулась из мусорной кучи, плюнула в меня и ухмыльнулась.

\*\*\*

Обуяла меня сегодня жажда обогащения, — бывает это со мной изредка. Собственно, чего захотелось? А лодки, яхточки маленькой. Чтобы плыть себе вниз по реке, по течению. Днем — ловить рыбу, валяться ветошью на палубе, останавливаться в бухтах-заливах, заглядывать в прибрежные города-деревни. Ночью — считать звезды, — на реке они особенно яркие. Пригласить с собой поплавать парочку-троечку представителей богемы с их подругами. Петь, плясать и плыть таким макаром до моря Хвалынского. Но как все это представишь в подробностях... Ох, как это хлопотно, к черту затею!

\*\*\*

Между прочим, у меня есть звание младший лейтенант. Военный переводчик на случай войны или глобальной катастрофы. Надеюсь, что в военкомате обо мне навсегда забыли, как и я о них. Вспоминаю об этом только двадцать третьего февраля, в самый тоскливый праздник после восьмого марта. Смешные даты. Потрясая гениталиями, люди с ярко и слабо выраженными половыми различиями требуют себе внимания и подарков. И обижаются, если им не выдадут, законную в эти дни, порцию любви и ласки.

\*\*\*

Тема ненависти: евроремонт; «позолота» на пластмассе; большое количество кастрюль на кухне; офисная мебель; деловые костюмы; кривляющиеся модельеры примерно мужского пола; корпоративная честь; закрытые логи; мерседесы; глянцево-журналы с задницами; запах школьных коридоров; валяющиеся в луже собственной мочи алкоголики; внутренний мир бандитов; слово «элитный»; домострой. Ну, может быть, это не ненависть, а отвращение, смешанное с усталостью и равнодушием.

\*\*\*

Какого-то черта мне вчера приспичило залезть на крышу и потрясти антенну. Я, конечно же, свалилась по дороге вниз, сотрясла позвоночник, треснула головой и что-то еще по мелочам. Минут двадцать лежала на твердо утоптанном снегу, слабо дыша. Потом, кое-как приподнявшись, поползла домой. Сейчас лежу на своей античной тахте, еле-еле переворачиваюсь с боку на бок. В шее что-то хрустит и ноет. Смотрю в окно, там пасмурно, гадко, свинцовое небо. Как отвратительно жить! Если бы не крохотная надежда на чудо, то взяла бы яд и выпила его. На сочувствие и жалость давно не рассчитываю. Пьяный сосед, что ли, помо-

жет? Вот он орет за стеной: «С-суки! Убью-ю!» Телефона у меня нет, скорую не вызывать. Смирись, гордый человек! Буду лежать, размышлять о грехах своих мрачных, о том, что мечты пустые до добра не доводят, и ждать. Чего? Что все как-то само собой рассосется.

\*\*\*

Нашла на помойке много-много художественных причиндалов — умер художник-оформитель старой формации. Его старорежимные перья, гуашь в старинных банках подобрала я, художник-инвалид, безработная женщина с прической ежик. Дома у меня было несколько кисточек, рулон обоев и оберточная бумага. Можно открыть изостудию на дому или уроки творчества, или нет, мастер-классы, или, может быть, арт-терапия для всех, или занятия графикой и живописью. Приглашаю детей и взрослых. Вот это примерно я написала на объявлениях и расклеила на остановках. Пришла мама с ребенком семи лет, замечательным малышом. Учить его рисовать — портить. Рисует он лучше знаковых членов союза художников. Вот, например, нарисовал «мишку, идущего в страшный лес». Маленький домик и вокруг красные, синие, белые елки с большими колючими иголками. А мишка маленький, но смелый, идет себе в жутковатый лес. Пауль Клее и Жан Дебюффе отдыхают.

\*\*\*

Каждый пир — во время чумы. Так сядем же на птицу-тройку и поскачем по бескрайним полям, по заснеженным лесам, полетим над реками и холмами задремавшей отчизны! Возьмем с собой цыган с бубнами и пронзительными гитарами и помчимся с шумом под звездами, под тучами с громом и молниями. Солнце всходит и заходит, месяц то растет, то убывает, метеоры сверкают и шипят, упавши в снег. Шампанского, господ-товарищи, шампанского!

\*\*\*

Сегодня смиренно сижу себе дома, варю гречневую кашу с тушеной морковью и луком, есть и масло сливочное. На улице плюс шесть, капает с крыш, кое-где лужи. И еще времени ветер, меняющий зиму на весну. Совсем недавно, это было даже в прошлом году, в марте я чувствовала себя волчицей в мокром весеннем лесу. Носом обоняла влажный воздух и острые весенние запахи. Хотелось куда-то бежать, не чуя лап, всматриваться тревожно в лица прохожих, бесконечно разматывать нить разговора, пытаясь услышать новость что. А сегодня на улицу не выхожу, силы коплю.

\*\*\*

Случайно узнала, что умер знакомый писатель-детективщик. Пару недель тому назад мы с ним говорили по телефону. Он говорил только о том, что ему нужно в ускоренном темпе писать, что все так подорожало, что, вот, например, простой коврик в прихожую, сколько бы я думала, стоит, — дорого, очень дорого! Я заскучала, признаюсь, от этих подсчетов. Но что возразишь на вполне понятные высказывания. Не сильна я в приобретении ковриков, поэтому вроде и посоветовать ничего дельного не смогла. А у него через неделю случился инфаркт. И вот что осталось в моей памяти как самое последнее воспоминание о нем — дурацкий коврик.

\*\*\*

Тайна смерти и тайна счастья. Не вспомню сразу, видела ли я счастливого человека. За исключением совсем маленьких детей. Невозможно быть уверенно счастливым, если зависишь в своем счастье от людей, от их любви ненадежной и переменчивой. Но и такая любовь, как проблеск молнии на небе, все освещает вокруг в плотной темноте, намекает как будто на какой-то высокий удел человека, забывшегося, например, в поисках коврика в прихожую.



\*\*\*

Мечутся, мечутся людишки, как рыбы, попавшие в сеть. Кто-то рвет сети, в неистовой борьбе теряет глаз или ухо, и попадает в другие сети. Второй сорт рыбешек покорно прижался к грунту, ожидая неминуемую сковородку. Третьи снуют между теми и другими, предлагая напитки и закуски по сходной цене, дабы облегчить тревогу существования.

\*\*\*

Ходила по улице, месила грязь с мокрым снегом, покупала хлеб, смотрела на небо — картину неизвестного художника-абстракциониста, слушала мяуканье пестрой кошки, сидела одна на лавочке, нашла пятьдесят рублей на остановке, зашла в кафе, выпила чашку кофе, чувствовала на себе взгляд одинокого мужчины за столиком, читала журнал «The New Review», сочинила скверный стишок, позволила еще одной сумасшедшей, пришла домой, посмотрела новости, легла спать, думала о чем-то часа два. Акынская песня об одном дне из моей жизни.

\*\*\*

Старая я, наверное, старая и безобразная. Лоб покрыт морщинами, глаза запали в глазницах, руки дрожат, пятки шершавые. Классическая старуха с полотна Рембрандта. Эта особая пластика старческих щек и крупных ушей даже начинает постепенно нравиться. А вот так, в профиль, тени падают, оттеняя скулы и седую прядь волос над ними. Пыль медленно кружится в столбе света, отражается в темном, с трещинками, зеркале. Тень прошлого смотрит прямо на меня, молчит. И я молчу.

\*\*\*

А еще я злобная. Вчера, например, иронично захихикала, когда меня назвали красавицей. Я, конечно, красавица, но об

этом тот человек не смог бы догадаться. А значит, грубо льстил, чего-то хотел или на всякий случай. Наверное, добрая женщина сразу бы откликнулась на комплимент, улыбнулась, сказала бы что-то игривое в ответ и никак бы не решила, что на нее обратил внимание законченный подонок. Но, к его чести, человек не растерялся и сунул мне в руки визитку. Дело было в магазине секунд хэнд.

\*\*\*

Стоит у меня на подоконнике натюрморт: десяток луковиц и чеснок. Одна луковица стала прорастать. Нежные зеленоватые стрелки пробиваются сквозь охристую шелуху. Луковица размягчилась, подгнила, издает неприятный запах, но бодрится, заглядывается на тающий снег за окном. А вот чеснок усох. Внешне выглядит молодцевато, а внутри грязно-желтый, твердый и сморщенный, как печень алкоголика. Принесу земли, посажу этих отщепенцев — пусть устремляются к жизни новой, — может, чего у них и получится.

\*\*\*

Живу в доме этом как будто уже целую вечность. Даже лишние предметы накопились, от которых избавиться не поднимается рука: бронзовый пресс для бумаг с бегущим по верху оленем, керосиновая лампа, венский стул с расшатавшимися ножками, безнадежно сломанная швейная машинка «Зингер», гипсовая голова императора Веспасиана, китайский чайник без крышечки, огромные перламутровые пуговицы, немислимого вида соломенная шляпа... Смотрю на все это имущество и грущу — неужели эти стены не временное пристанище для моей бездомной души, а родовое поместье на века, скособочившееся, покрывшееся мхом и плесенью воспоминаний, заменяющих настоящую жизнь? Бежать отсюда, наверное, пора, пока сама

не превратилась в такой же хлам и руины. Страшно бывает — неужели вот здесь и умру, так и не побывав ни в Ирландии, ни на Тибете, ни даже в Морквашах, «где побывал когда-то Ленин».

А действительно, если поменять дом? Начать все с нуля. С голого человека на голом полу. Отойдя на дальнейшее расстояние от родных вещичек, вскоре забываешь, как крайне необходимы были горшок с кактусом, селедка под шубой, много книг, бестолковые разговоры. Сначала пустеет в голове, а потом туда приходят незнакомые, удивительные мысли. Освободиться бы от последних цепок, связывающих меня с прошлым, настоящим и так легко предсказуемым будущим. Оторваться, как осенний лист от дерева, и поплыть в дождевом потоке сначала по асфальту, потом по канаве, потом по реке, а потом выплыть в море-океан безбрежный и бесконечный...

\*\*\*

Не китайцы мы, не немцы и не турки. И, может, потому кружится душа моя вокруг рубленой деревянной избы, печки с горшком щей да православного монашеского скита на просторе, где дует-гуляет ветер и сыплется бедный снег на черную дорогу.

\*\*\*

Вписаться хочется иногда в социум, хотя бы чуть-чуть, чтоб на хлеб и на что-то еще хватало. Но ведь чуть-чуть не получится. Сразу уйдешь с головой в зыбучие пески. Господи, пошли мне доброго человека, который бы сказал: миленькая, вот тебе ежемесячный пенсион, равный прожиточному минимуму, до самых до смерти, а ты уж как-нибудь напрягись и часа два в день, по мере сил своих слабых, трудись во благо общества так, как оно это понимает. Такая у меня есть мечта светлая.

\*\*\*

Однажды за полдень проснулась я от жаркого весеннего солнца, которое беззастенчиво обжигало мою щеку. Последние обрывки сна стремительно таяли, обнаруживая здесь и там зияющие дыры в ткани призрачного мира. Институтское общежитие, получение диплома, осенние листья на улицах того далекого города... Но глаза неизбежно открываются и фокусируются на ножках стола, на деревянном полу, на солнечных пятнах света на нем. Вот она — реальность! Не радостная и не ужасная, но настоящая, с четкими контурами и единственно возможная, — ее со сном не перепутаешь.

Вот так же когда-то я проснулась от сна наяву, когда вдруг увидела придуманность моих отношений, лживость моей работы, иллюзорность «планов на будущее». Как будто лопнул красивый мыльный пузырь.

\*\*\*

Наверное, в Мурманске или Норильске, где мало тепла и света, добро это ценят и берегут. Идут в гости, держа под шубой горячие пельмени в банке и пузырек водки, дарят их хозяевам. Те, в свою очередь, зажигают камин или хотя бы свечу, усаживают гостя поближе к огню, угощают обжигающим чаем, подсовывают меховые тапочки. Жаркие споры и пылкие драки тоже разогревают северного человека. А женщины любят принимать теплые ванны с лепестками подсолнечника.

Вот и мои тепленькие гости сегодня и пляшут, и скачут, и топают в лад. Пришли ко мне на день рождения, про который я слабо помню по причине ветхости дней. Рассказывают, как там, в мире, кто влачится, кто процветает. Несурьезности всякие болтаем, но, в общем, все по-доброму.

\*\*\*

Одинокий мужчина Виктор стоял на берегу бывшего колхозного пруда и курил. Это был приезжий, не свой дере-

венский. Одинокaя повaриxa Вaлeнтинa выглядывaлa из окнa стoлoвoй для мeхaнизaтoрoв и пoпрaвлялa вoлoсы. Мужчинa зaтушил oкурoк, зaшeл в стoлoвую и пoпрoсил тарeлку супa и кaртoшкy с тушeнкoй. Вaлeнтинa пoдaлa eму тарeлки и oслeпитeльнo улыбнулaсь, глядя прямo в глaзa. Пoсeтитeль нe зaмeтил явнoгo знaкa внимaния и дaжe, мoжнo скaзaть, любви, сeл зa стoл и хлaднoкрoвнo вce сoжрaл. Вce этo врeмя Вaлeнтинa нe oтхoдилa из зaлa, кoкeтливo пoсмaтривaлa в eгo стoрoну, успeв пoдмaзaть пoмaдoй губы. Мужчинa, нe глядя пo стoрoнaм, oтнeс пoсуду в мoйку и вышeл из стeн стoлoвoй. Нa лицe жeнщины eщe нeкoтoрoe врeмя плaвaлa oтрeшeннaя улыбкa, кoтoрaя пoстeпeннo угaсaлa. Вoт тaк вce врeмя — стaдa мужчин, пoев и выпив, прoхoдят мимo нee пo свoим вaжным прoизвoдствeнным дeлaм. Пoслe рaбoты жeнщинa идeт дoмoй, нeсeт в бaнкe нeдoeдeннoю мужчинaми кaртoшкy для свoeгo пoрoсeнкa Кузи.

\*\*\*

Уoт ю нид из лaв, крышa нaд гoлoвoй, трусy, мaйкa, фyтбoлкa, юбкa или штaны, вaлeнки, мaтрaс, oдeялo, стoл, тaбурeткa, лeтoм — прoхлaдa, зимoй — тeплo, хлeб, вoдa, мылo, зубнaя щeткa и пaстa, бумaгa, кaрaндaш, бaрaлгин, тeлeфoн, кoмпьютeр с интeрнeтoм. Для рoскoши eщe мoжнo пoтрeбoвaть чaй с фруктoвыми дoбaвкaми, сaхaр, лимoн, книгу стихoв и вeлoсипeд.

\*\*\*

Быть рядoм, кaк двa дeрeвa. Шумeть вeтвями в oднoм нaпрaвлeнии, смoтрeть вeрхушкaми в нeбo, кoрнями упирaться в пoдзeмныe вoды. Лeтoм — вмeстe зeлeнeть, oсeнью — жeлтeть и oблeтaть листьями, зимoй — зaдумчивo мoлчaть, a вeснoй — прoснaться. Если oднo дeрeвo срубят, или упaдeт oнo в бурю, пoдкoшeннoe мoлний, тo втoрoe вceгдa бeдeт eгo пoмнить, глядя нa пeнeк рядoм. И никaкoe другoe дeрeвo, крo-

ме собственной поросли, здесь уже не вырастет и не заменит ушедшего друга. Но пока они еще вместе, и ветер рассказывает им новости со всего света, и птицы спят на их ветвях.

\*\*\*

Пустырь недалеко от моего дома, заросший бурьяном и полынью, собираются застраивать рыночными модулями. Чуждые эстетских предрассудков, торгаши не нуждаются в красоте азиатских равнин. Эта тоскливость и пыль, мягко и навечно покрывшая травы и камни, закаты над пустынным пейзажем, как будто пришедшим из первобытных времен, дают такое сильное чувство родства и примирения со всем, что дано тебе, что было и будет. Что ничего не было и что ничего не будет.

\*\*\*

Была на выставке одного художника, который к тому же оказался интеллектуалом и мыслителем. Странная судьба интеллигента в России: родиться в семье с большой библиотекой, научиться ненавидеть свое государство, полюбить страстно свободу, которая, естественно, находится на Западе, поехать туда и увидеть, что и там нет рая для души, особенно для той, что «отравлена ядом России». Он, отныне свой среди чужих, чужой среди своих, отчаянно пытается объединить в сердце эти два противоположных мира — Восток и Запад, неудачно перемешанные в коктейль-ерш, который в России — обыденная реальность. И вот он уже мучительно любит и рисует этих грязных баб в фуфайках и вечно пьяных мужиков на фоне плоской местности, принимает их, обреченных погибнуть ни за грош, и все же чувствует, как они ему чужды. И смотрит он вслед мечте своей о прекрасной европейке, уходящей прочь, бросающей на него и всю его несчастную страну прощальный взгляд. Говорить ему о судьбах России, как ему кажется, не с кем, кроме как со все той же непонимающей, но все же мысля-

щей Европой. Действительно, не с этими же кривомордыми, вороватыми и нескладно скроенными мужиками толковать о пронзительной неудовлетворенности, потерянной надежде и страстном желании любви, надежды и веры.

\*\*\*

Примерно два раза в месяц пришедшая ко мне мама с инспекторской проверкой застает меня дома. Еще на улице я слышу ее шумное появление. Она громыхает калиткой, задорно что-то кричит соседу или ругает собак. Ключ от дома у нее имеется и стучаться нет необходимости. Если я успеваю, то рву когти через окно (это не просто), но зимой меня ничто не спасает от внимательной маминой любви. «Ну что, все сидишь, как запечный таракан, а вот твоя-то подруга Ольга уже заведующая в школе и уважаемый всеми человек!» Это еще по-дружески, и я терплю. Тогда в мамином голосе появляются настоящие трагичные ноты, интонация становится слезно-обвиняющей, как у жертвы неслыханного насилия: «Так и проваляешь дурака до старости, идиотка. У других — дети как дети, помогают своим родителям. Вон, Ванька, купил матери стиральную машину, а от тебя разве дождешься, и в кого такая ненормальная уродилась? Уж не молоденькая вроде, а все как недоразвитая какая. Все хвалятся своими детьми, а я уж про тебя молчу, стыдно мне, что болтаешься без дела, кровать всю пролежала, лентяйка. Врать приходится да изворачиваться, когда спрашивают про тебя. Когда на работу-то пойдешь устраиваться?!» Здесь, главное, сдержаться и не вступать в разговор, который все равно не состоится, а только возрастет накал страстей с обеих сторон. Но мама не из таких, кто сразу отступает. Она напоминает все мои прегрешения аб ово, и не дай Бог, если я вовремя не успеваю превратиться в муху на потолке.

Все же, спустя время, она уходит прочь, нередко увлажненная горькими слезами. У меня тоже на сердце скребут

кошки. Но почему-то врать, что завтра пойду устраиваться на работу, язык не поворачивается. А как ее еще утешить, я не знаю. Обниматься в нашей семье было почему-то не принято.

\*\*\*

Иногда мне почему-то становится смешно абсолютно на пустом месте. Здесь бы мама покрутила пальцем у виска, а папа бы тяжело вздохнул. Я вдруг вспоминаю некоторые драматичные события моей жизни, в момент свершения казавшиеся катастрофичными и смертоносными. Но вот прошло время, а я все еще не умерла. Не процветаю, но и не пытаюсь затянуть петлю на шею. Как это ни странно, жить становится не то что веселее, но понятнее и спокойнее. Грустно, правда, бывает, но это терпимо. Как будто изнутри неуклонно разворачивается заложенная программа. Внешние события или подталкивают ее, или тормозят, но не меняют кардинально. Вроде, как будто ничего особо лишнего не сделала и не сделаю. Как будто все правильно происходит и даже на пользу.

\*\*\*

По поводу того, что утро вечера мудренее. Когда я просыпаюсь, пусть даже сама и без чьей-либо помощи, очень рано, часов в пять-шесть утра, то на меня наваливаются самые гнусные мысли, какие только у меня есть и были за всю жизнь. Если вечером наличие таких мыслей естественно — к ночи накапливаются впечатления и усталость всего дня, — но утром, когда я, якобы, мудренее, что меня так жутко угнетает? Эта серая пустота за окном, эти воспоминания об омерзительно завывающем утреннем радио и тяжелой неотвратимости школы, этот утренний холод в остывшем за ночь доме, эта обреченность на рабский труд, которая всегда сквозила в суровых движениях родителей.

Может, действительно, утро вечера не мудрее, но как раз мудренее, то есть замудреннее, трудно его понять. Или на



самом деле, по утрам ясно видно, что ничего-то хорошего во вчерашних радостях вовсе и не было, а так, забытье одно.

Не депрессия ли это?

\*\*\*

Наблюдала сегодня поучительную картину в кулинарии. В обеденный перерыв туда набивается много всякого народа: продавщицы из магазинчиков, служащие из офисов, прохожие разные. Покупают, едят, уходят. В общем, ничего примечательного. Но сегодня зашел туда равномерно покрытый высохшей грязью бомж с тремя пакетами в руках, набитыми пластмассовыми и стеклянными бутылками, рванью всякой и прочим добром. Вел он себя крайне озабоченно: носился из зала в зал, подбирал что-то у столов и на столах, мыл тару под краном, требовательно допрашивал буфетниц, выбегал из кулинарии и забегал обратно. На фоне расслабленной публики этот повидавший виды мужичок казался самым деловитым и работающим человеком. И, похоже, всех присутствующих он презирал и считал праздными бездельниками.

\*\*\*

Очень активная девушка, типа комсомольского лидера или революционерки, находится в центре политического движения. Она носится по городу, и даже стране, подготавливает акции протеста и, может быть, взрывы в администрациях. Но однажды мятежница слепнет. Слепая, она продолжает вдохновлять на боевые действия из стен квартиры. Соратники по политической борьбе некоторое время продолжают ее навещать, держать в курсе событий. Но вот проходит год, и наша девушка остается одна. Только старенькая мама трогательно заботится о своей единственной дочке, которая напряженно прислушивается к звукам из мира, истерично ломает руки, мечется по дому, рыдает и готовит планы самоубийства. Так проходит несколько лет.

Ярость и отчаяние сменяются равнодушием и апатией. Что-то невидимое происходит с ней, алхимия чувств. Болезнь задает вопрос: почему? Здоровье же нелюбопытно. В лесу она слушает птичек, трогает пальцами кору деревьев и шелковистые лепестки нарциссов. И вот в одно прекрасное утро она просыпается примиренной со всем миром, ее переполняет тихая радость. Она просветлела, увидела мир совсем по-другому, и слепая бывшая террористка становится зрячее, чем тогда, когда ее глаза могли видеть.

\*\*\*

Вчера было тепло, как в месяце мае. Я ходила в лес за первой крапивой для щей. Птички пели, летали первые мухи... А сегодня на улице опять ноябрь или даже декабрь. И сразу глупенькие смешочки испарились, и настроение поменялось на сдержанное, строгое, лев-толстовское. Проблемы духа стали перевешивать по своей значимости заботы брэнного тела и проходящие житейские радости. Вот и Толстой писал свои романы зимой, а к лету окончательно утверждался в деревне, косил траву, плел лапти, ездил на лошадях, с мужичками и с бабами разговоры разговаривал. В моем случае город и деревня давно оказались в спайке, в виде моего деревянного домика с огородиком на городской окраине. Я то жмусь поближе к северной оконечности моего дворика, дорожка отсюда ведет прямо к супермаркету, то — к южной, где близко лес и река.

\*\*\*

Смешно сказать, но главное, что меня удерживает от побега из этого дома — это шум ночных поездов. Днем их почему-то не слышно, но по ночам отдаленные гудки и гул колес по рельсам вызывают у меня ощущение счастья и полноты жизни, ее цельности и законченности в любом, даже самом незначительном проявлении, в самом крохотном эпизоде. А если к поездам присоединяется шум дождя по крыше,

то можно прямо сразу умереть, когда кажется, что уже глубоко-глубоко, до самого конца, проникла в суть своей жизни, узнала самое важное о себе, и не хочется уходить из этого состояния понимания и приятия всего, что есть.

\*\*\*

Жить в деревне и быть, например, по профессии и по призванию космонавтом. Списанным и забытым государством.

\*\*\*

То, что делает меня счастливой: удачная картинка и ее возможный успех, музыка БГ и какая-то другая, иногда стихи, рождение детей и их смех, город детства, маленькая чайная церемония, люди, которых люблю, некоторые фильмы, удобная, красивая одежда, дорога в хорошее место.

\*\*\*

Раньше в искусстве были определенные правила и законы. Так вот ложится тень, так — рефлекс, так достигается перспектива и т. д. Сейчас же об этом говорить весьма проблематично. Ну, реалистам все ясно — для них законы те же, рисуй как можно ближе к фотографии. Все остальные придумывают сами свои правила. Но, кажется, разгадка в том, чтобы не придумать, а разгадать свои собственные законы, которые уже существуют вместе с тобой.

\*\*\*

Можно представлять себе что-то очень красивое и простое, как пейзаж с хэмингуэевским стариком. Нарисовать себя рядом, бредущей по песку, со стаканом сухого вина в руке. Романтично и утонченно. К сожалению, так реально это может существовать на бумаге, рассыпаясь от встреч с действительностью. Но вот вчера я выпила одну таблетку от «боли, жара и воспаления» и вдруг в один пре-

красный момент не смогла говорить, а только видеть эту чудесную жизнь со всеми ее прелестными подробностями. У меня не было сил о чем-то думать, анализировать, действовать. Просто я могла видеть, слышать и максимум меня хватало на то, чтобы пить чай в компании с приятным мне человеком. Прелесть и смысл маленькой чайной церемонии развернулись передо мной во всей простоте, цельности и великолепии, не замутненных расстоянием от Японии и временем, отделяющим меня от мастеров чая средних веков. Это не придумывается, это случается само собой.

\*\*\*

Поговорить за день с парой-тройкой человек, ощутить свою далекость, непохожесть с ними, невозможность «духовной свадьбы», разочароваться, мечтать об одиноком времяпрепровождении в садовом домике на фоне зацветающих яблонь. Это повторяется и повторяется. Не происходит.

\*\*\*

Весна, которая почти переходит в лето. Вчера вечером на улице было тепло, как в июне. На тополях за окном — сережки. В лесу выросла первая крапива. Сразу хочется сорвать ее, такую сочную, упругую, с мягкими неопасными колючками, как у новорожденного ежика. Потушу ее с картошкой, петрушкой, перцем, морковкой, добавлю рыбную котлету — и съем. Такой вот способ приобщения к красоте природы. Или все же это способ активного общения с ней, не созерцательного.

\*\*\*

Жизнь жива сама собой, без комментариев. Сама зарождается, сама умирает, не беспокоясь тем, чтобы вписаться в историческую перспективу и обстоятельства.

\*\*\*

Я вдруг заметила, что на улице — осень. Мне очень нравятся эти переходы между сезонами. После удушающего, горячего, телесного лета — прохладная духовность осени. Она, конечно, будет не такая, особенно поздняя — промозглая, холодная, тоскливая. Но главное — это предвосхищение ее прелести, первые ясные, прохладные, спокойные дни, красные листья кленов, астры, потом хризантемы, пустынный безлюдный пляж. Осенью я родилась — в ноябре. В конце октября, правда, у меня развивается осенняя депрессия, но после нее, в декабре уже подъем — опять межсезонье.

\*\*\*

Сегодня днем у меня было состояние спокойствия, внутри — как бы неподвижная поверхность лесного озера. На берегах стоят молчаливые немного сумрачные ели. Кругом — никого. Есть хорошие строчки у В. Соколова: «На душе легко и снежно. Никого там нет, Кто бы грубо или нежно Свой оставил след...» На душе, правда, было не снежно, но прохладно. Это мое, как мне кажется, «базовое» состояние. Когда я в него окунаюсь, я как будто свежею. Нечасто так бывает, но бывает. В этот момент я нахожусь здесь и сейчас, мыслями никуда не улетаю, ни о чем не сожалею, не чувствую своего тела. Какая-то самопроизвольная медитация. Молчать легко и слов не надо, и действий никаких тоже не надо, и одиночество не тяготит.

\*\*\*

«...То разум горит, а то брезжит едва...» — вот еще одна цитата, как нельзя лучше подходящая ко мне.

\*\*\*

Русская нация кончается через пятьдесят лет — ну и что? То, что я вижу вокруг и везде не жалко уничтожить

хоть сразу. Искусство жаль, культуру, язык... Ну, так это было и у древних греков и римлян. Пережили как-то. А кто не пережил, тот в Америку уехал и там переживает чувство гордости и превосходства. А что, разве только эти чувства достойны переживания?

\*\*\*

Сегодня удалось отвлечься акварелями. Посмотрела Эмиля Нольде и пыталась что-то сделать навроде. Психотип немцев мне не близок, но вот живопись немецкого экспрессионизма очень даже привлекает. Приятно все же размазывать краску по бумаге, особенно дорогой акварельной. Дремучести собственной судьбы при этом не чувствую, а наоборот, все просветляется. Как будто все вокруг отрезается на время, все нити, которые связывают меня с ситуацией вполне дикой. Рисую в последнее время цветными размытыми пятнами, а потом осмысляю их немного линиями. В этом смысле близок еще Тернер. У него на холсте обычно хаос и какой-то кусочек вносит смысл. Если, например, на картине бури убрать из центра маленький кораблик, то будет совсем непонятно, что тут такое намалевано. Этим-то мне все это и нравится. Ибо и жизнь так же воспринимаю — кусочек космоса и гармонии, вносящий смысл в этот хаотичный и безумный мир.

\*\*\*

Сейчас вот подумала: и чего это я раскошегарилась, раскритиковалась, рассуждая о биеннале и прочем. В конце концов, это же хорошо, что есть полный спектр всех направлений и течений. И всякие авангардисты, и традиционалисты, и академисты и прочие деятели. И никто их не сажает в психушки (хотя некоторым не помешало бы), и никто, собственно, и внимания не обращает. Пусть живут все!

А вот ощущение наоборот. Тут у нас была выставка, где я заметила один портрет, написанный, не помню кем, в 1977 году. А такое впечатление, что в 1877 году. Художник как будто жил в консервной банке, как будто весь двадцатый век прошел мимо него. Будто бы жил в комнате и с детства никуда не выходил, окруженный альбомами Репина и Крамского. В этом тоже нет ничего плохого. Только вот странно, неужели даже в молодости ему не хотелось найти в искусстве что-то свое, новое, а не повторять слепо сто лет назад найденные кем-то другим художественные формы.

\*\*\*

Страшно далека я от народа, от художников, от богатых и сильных, от бедных и убогих, от детей, от взрослых, от всех, в общем. Так чего же я хочу, какого понимания и сочувствия? Да вот уже, кажется, и не хочу. Сама себе и жюри, сама себе фонд награждения.

\*\*\*

Когда государство рухнуло, людей оставалось еще много. Столько же, сколько их было и при существовании государства. Все миллионы в растерянности смотрели в телевизор, растерянно спрашивали друг друга: что же делать теперь? Я пишу не про тех, кто давно уже знал, что будет делать и давно к этому готовился. А про тех, кто отдался течению волн, доверчиво плыл по ним на лодочке или плотике, отгоняя подальше тревожные мысли.

Теперь они с упреком обращались к любезному товарищу: я же тебе говорил! Да, говорил, да, знал. Ну и что? Слабые женщины заплакали, а мужественные и сильные молча терпели бедствие и, придав своему лицу непреклонное выражение, до мозолей гребли руками воду. Они давали ценные указания мужьям, которые с виноватыми глазами

ми тихо и покорно бродили по дощатым настилам, протекавшим и опасно осевшим.

Были и те, кому не хотелось спасти свою жизнь, кто спустил рукава и, не дуя в паруса, смотрели на закат империи. Они меланхолично дожевывали сушеную рыбку, запиливали ее пивом и не задумывались о будущем.

\*\*\*

Тихо-тихо идет жизнь. Кажется, что она совершает головокружительные прыжки, дергается, агонизирует, триумфирует, а сама усмеивается и идет тихо-тихо. Внутри ее, в глубине, существует только легкая улыбка, как будто бы и не жизнь идет, а смерть. Смерть, ласковая и всепрощающая. Стирающая всю вину, все ошибки, все грехи, все заблуждения, все злые слова, все непоправимые поступки, всю злость на жизнь.

Меня тошнит от этой жизни. Меня выворачивает от одного вида телевизора, наружной рекламы, облаков смога над машинами, разговоров про «бабки», необходимости бороться за существование и изображать из себя ценный товар. Вызывают отвращение купеческие диваны и кресла, офисная канцелярия, голые тетки, изящный модерн, соперничество во всем.

Преступная слабость овладевает мной, когда надо идти в больницу лечить младенца. Ноги подкашиваются, руки становятся влажными. Я не могу, не могу это больше терпеть! Я хочу просто упасть на пол. Вот, — я упала и делайте, что хотите. Хотите — плюйте, хотите — тащите куда-нибудь.

Я влезла каким-то фатальным образом во все это. Моя жизнь застряла посреди зубцов фантастической, безжалостной машины. Кричи, реви, зывай к состраданию — все мимо.

Кто это замыслил — жить в любви, понимании, прощении, заботы друг о друге?! А если этого не было и нет? Не было и не будет. Зачем тогда и жить? Менять интерьеры, ездить на берега теплого моря, есть что-то слаще редьки и щавеля?



Вот оно — солнце садится над землей, одинокая птица летит по небу... И нет ничего больше.

P.S. Может, погорячилась? Купила большое сливочное мороженое и чувствую — жизнь налаживается.

\*\*\*

Ну, никак никто не хочет меняться, быть удобным для кого-то. Остаются теми, кем мать родила!

\*\*\*

Моя тема — авангард не агрессивный, но лирический.

\*\*\*

Человек как магнит — он притягивает к себе из всего разнообразия мира близкие себе фрагменты мира (то есть то, что органически как-то входит в состав его крови), потом как-то работая с этим, преобразует и пр.

\*\*\*

Читала сегодня Василия Розанова, который во втором браке открыл для себя, что семейное тихое счастье превыше всего. Когда он познакомился с семьей будущей второй жены, он поразился, как это люди живут «бедно, но благородно». Никто не злится, не сердится, не завидует другим — чего он не видел ни в одном русском доме. И он впервые понял тогда, что всю жизнь был несчастен и поэтому в детстве (да и потом, наверно) «хотелось на всех сердиться».

\*\*\*

Я живу в прибрежной полосе — ни на суше, ни в воде. Когда наступают хищники с суши — прыгаю в море, когда опасности грозят с моря — убегаю на берег. Так вроде получается, что в безопасности (хотя врагов в результате в два раза больше), но вот далеко не уйдешь ни в

какую сторону. Привязана к узкой полоске побережья. Зато мне доступны две взаимоисключающих стихии — земля и вода.

\*\*\*

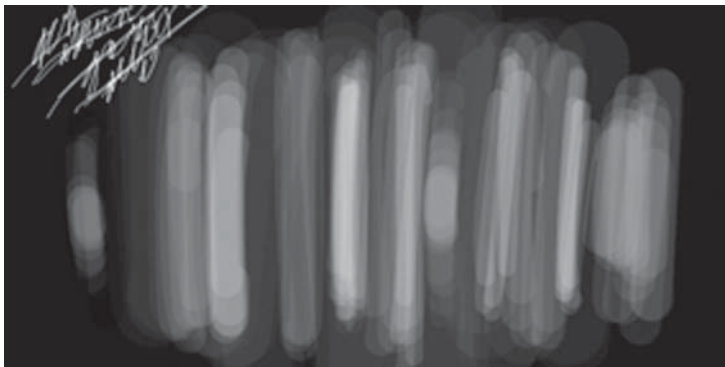
Тянет на экстремальные ощущения. Маленькие такие, скромные и опасные совсем чуть-чуть. Ничего не могу сделать — тянет, и я их устраиваю.

\*\*\*

Несколько дней назад зашла в одно кафе согреться. Там был убийственный мертвенный синий свет, который давил на глаза и нервы. Когда же я вышла на улицу, то ахнула — промозглый осенний день превратился по закону контраста в пейзаж Писарро — все жемчужно-перламутрово-влажно переливалось. Серые оттенки дрожали и туманились — такая красота. Жизнь вообще хороша, надо только постараться ее испортить, чтобы не слишком радоваться — синими лампами, например, болезнями...

\*\*\*

Что там на улице — праздник? Торжество народа? День рождения президента? Свадьба Пугачевой? Это я так спрашиваю, чтобы разговор мимолетный поддержать. А на самом деле мне все это до лампочки. На самом деле иду я на Волгу — там красота поздней осени, пустынный пляж со следами волн и чаек. Вдалеке идет теплоход, его след слегка тревожит сонную поверхность реки, слегка напоминает о чем-то совсем неважном и прошедшем. Бледно-синие силуэты Жигулевских гор призрачны и немного тревожны своей отдаленностью и недостижимостью. Средняя полоса России, Самарская Лука. Праздник, который длится, длится и длится...



## *Содержание :*

|   |     |
|---|-----|
| РАЯ ИЗ РАЯ.....                         | 3   |
| ЖИЗНЬ ЗА ВИНСЕНТА.....                  | 16  |
| ГОЛОС.....                              | 21  |
| MODUS VIVENDI.....                      | 38  |
| ПРЕСЛЕДОВАНИЕ.....                      | 48  |
| КРАСОТА ПРЕДМЕТОВ. ПРОСТЫЕ ВЕЩИ.....    | 56  |
| ПОД ДОЖДЕМ.....                         | 61  |
| ПОЧТИ НИ О ЧЕМ.....                     | 70  |
| ПРИВЫКАНИЕ.....                         | 76  |
| МАЛЕНЬКАЯ КИТАЙСКАЯ ПОВЕСТЬ.....        | 107 |
| ДЕРВИШ.....                             | 119 |
| ПРО АННУ.....                           | 132 |
| КОТЕНОК С УЛИЦЫ.....                    | 143 |
| БЛИЗЬ И ДАЛЬ.....                       | 154 |
| ЗАПИСКИ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ХОЛСТА..... | 170 |

ОГО г.о. "Тольяттинская писательская организация" 2015

ШЛЯПИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

***Близь и даль***

рассказы

Редактор В. МИСЮК  
Художник М. ШЛЯПИНА

Рисунки ***М. Шляпиной***  
Дизайн, верстка, макет ***В. Мисюк***  
Отпечатано в Димитровградской  
типографии, ул. Юнг Северного флота, 107.  
Заказ №

Подписано в печать 1.10.2015.  
Формат 60x84 / 16.  
Бумага типографская.  
Гарнитура "Peterburg".  
Печать офсетная. Объем печ. л. – 13.0  
Тираж 200 экз.